

ДОСТОЕВСКИЙ, СТРАХОВ, ТОЛСТОЙ (ЛАБИРИНТ СЦЕПЛЕНИЙ)

Статья первая

ОТ ДОСТОЕВСКОГО К ТОЛСТОМУ*

Критик и философ Николай Николаевич Страхов начиная с 70-х годов и вплоть до смерти в 1896-м был преданным другом и незаменимым литературным (в широком смысле) помощником и советником Льва Николаевича Толстого, который высоко ценил острый ум и эстетическое чутье соратника Достоевского и Аполлона Григорьева по почвенническим журналам середины века «Время» и «Эпоха». Незадолго до ухода из Ясной Поляны Толстой записывает в своем дневнике 26 октября 1910 года: «Видел сон. Грушенька, роман, будто бы, Ник. Ник. Страхова. Чудный сюжет».¹

Никакого отношения эта запись к другим горестным заметам, отражающим кульминационный момент семейной драмы, равно и к проектам злободневных, неизбежно тенденциозных статей не имеет. Грушенька — это, видимо, Аграфена Александровна Светлова, героиня романа «Братья Карамазовы» (ее фамилию, появляющуюся где-то в конце, читатель вполне мог и не заметить, она воспринимается как приложение к ласковому и возбуждающему чувственность уменьшительно-ласковому имени).² Удивительное, странное сочетание фамилии публициста и критика достаточно строгих консервативных взглядов, с антинигилистических и позитивистских позиций освещавшего, в частности, так называемый женский вопрос, и имени оболытливой мещанки с весьма сомнительной репутацией — с точки зрения Катерины Ивановны, Ракитина, Миусова, большинства обитателей Скотопригоньевска она развратная и наглая («царица наглости») «гадина», «мерзавка», «тварь», «эта женщина», «скверного поведения женщина», «публичная девка», «пельма», «тигр», «беспутная девка», «содержанка купца Самсонова».

Как свидетельствует А. П. Сергеевко, сразу же после ухода Толстого из Ясной Поляны он в гостиничном номере монастыря Оптиной пустыни на

* В тексте статьи даются ссылки на Полное собрание сочинений Достоевского в 30-ти т. (1972—1990) и юбилейное издание сочинений Л. Толстого в 90 т. (1935—1958).

¹ В тот же день Толстой писал В. Г. Черткову о разных сновидениях, среди которых было и «прелестное нынешнее, художественное», и о намерении их записать.

² Впервые высказал предположение о связи Грушеньки дневниковой записи Толстого и героини романа Достоевского А. П. Сергеевко, попытавшийся и реконструировать замысел Толстого: «„Грушенька“ — по всей вероятности, имя будущей героини, взятое из романа Достоевского „Братья Карамазовы“, который Лев Николаевич в те дни продолжал читать (...) Возможно, что содержание рассказа состояло бы в том, что Грушенька повлияла бы на Страхова своей любовью к жизни, веселостью, эмоциональностью, широтой натуры, а Страхов облагораживающе действовал бы на нее своими умственными запросами» (Сергеевко А. П. Последние сюжеты // Лит. наследство. Лев Толстой. 1961. Т. 69. Кн. 2. С. 288). Вполне резонное предположение о влиянии совсем свежего чтения романа Достоевского на замысел Толстого, хотя вряд ли сюжет произведения представлялся писателю столь идиллическим и «головным».

узеньком листке бумаги записал четыре художественных сюжета, которыми предполагал заняться в будущем. Среди них и этот «чудный» сюжет: «Роман Страхова. Грушенька — экономка».³

Собственно, это в самом общем, неразвернутом виде набросанная мысль произведения — только чуть-чуть обозначенный замысел Толстого-художника; уже не оставалось времени обдумать его, очень скоро Толстому будет совсем не до «художества». Сюжет и неожиданный и загадочный. И почему этот, как сказал бы Достоевский, «фантастический» сюжет представлялся Льву Николаевичу «чудным», мы не знаем; по сути, ведь не рассказано содержание сна — названы лишь его персонажи. Но ясно, что сюжет такого сна не был случайным, что в подноготной сна долгие и очень разные по мыслям и тональности размышления о Достоевском, Страхове, их необыкновенно сложных отношениях, об исповедальных признаниях критика в письмах Толстому, о романе «Братья Карамазовы», который Толстой читал дважды, в последний раз незадолго до ухода и смерти, почти на одре. Возможно, это последнее чтение и разбудило воспоминания о Страхове и его бесконечной тяжбе с Достоевским, неоднократно захлестывавшей письма критика тошнотворной волной запоздалых, диких, больных обвинений-признаний; само собой вспомнились и собственные суждения о Достоевском — писателе и частном человеке. И все это причудливо отразилось в октябрьском сне Толстого. Небольшие записи, но за ними сумасшедший лабиринт сцеплений разных сюжетов — литературных и житейских.

В сознании Толстого неразрывно переплелись Достоевский и Страхов. Этому активно способствовал критик, довольно регулярно сообщавший Толстому не только о литературных занятиях и замыслах Достоевского, но и о событиях в семейной жизни писателя — о ней Страхов был хорошо информирован, находясь в добрых отношениях с Анной Григорьевной. В несохранившемся письме от конца августа—начала сентября 1871 года Страхов передавал Толстому какие-то тревожные новости о Достоевском. Но уже в следующем письме (от 12 сентября) он постарался развеять тревоги: «Повидавшись с ним несколько раз, я увидел, что он вовсе не ослабел, и что перемена, которая мне показалась страшною, в сущности имеет какой-то очень хороший характер. Теперь у него прекрасная семья, двое маленьких детей; есть при том надежда, что он, может быть, избавится от житья заработком. Словом — будущее очень светло, и я, вместо того чтобы жалеть о нем, стал радоваться».⁴ Но о романе, над которым тогда усердно работал Достоевский, как и вообще о художественной манере писателя, Страхов отзывается с какой-то кислой grimасой, недвусмысленно давая понять, что многое в произведениях Достоевского ему чуждо: «„Бесы“, очевидно, представляют все его достоинства и все его недостатки, возведенные в квадрат, если не в куб. Он работает над этим романом добросовестнейшим образом; а выйдет, кажется, чудовище, которого никто не поймет».⁵ О том же, но гораздо деликатнее и тоньше писал Страхов и Достоевскому; письмо содержало и весьма лестные для автора «Бесов» слова: «Очевидно — по содержанию и разнообразию

³ Сергеевко дает такую расшифровку записи: «Очевидно, теперь предполагалось сделать Грушеньку заведующей всем домом одинокого Страхова и на этой почве показать возникновение и развитие их каких-то взаимоотношений, что и должно было составить, по словам Льва Николаевича, „прелестное“ художественное произведение» (Там же. С. 291). Ничего очевидного в записи нет — можно лишь предположить, что основной рассказа стала какая-то история, рассказанная Страховым Толстому, соединившаяся с сюжетом сна и впечатлением от чтения романа Достоевского. И это, разумеется, всего лишь гипотеза.

⁴ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки / Редактор А. А. Донсков. Составители Л. Д. Громова, Т. Г. Никифорова. Ottawa, 2003. Т. 1. С. 10—11.

⁵ Там же. С. 11.

идей Вы у нас первый человек и сам Толстой сравнительно с Вами однообразен».

Эпистолярный, составивший два больших тома, диалог «Толстой — Страхов» начался несколько раньше. 18 марта 1870 года Толстой под впечатлением только что прочитанной статьи Н. Н. Страхова «Женский вопрос» (Заря. 1870. № 2), представляющей собой подробный, с сильным, но не фельетонным полемическим уклоном, аналитический разбор книги английского философа-позитивиста Д. С. Милля «О подчиненности женщин», пишет ему по поводу этой явно взволновавшей его критической работы. Некоторые положения статьи вызвали возражения Толстого, но многое показалось важным и значительным. Видимо, особенно привлекло внимание Толстого следующее место в статье, близкое его видению вопроса: «Отношения между полами, эти таинственные и многозначительные отношения, — источник величайшего счастья и величайших страданий, воплощение всякой прелести и всякой гнусности, настоящий узел жизни, от которого существенно зависит ее красота и ее безобразие, — эти отношения упущены из виду Миллем и не внесены им в женский вопрос. Это значит — философ выпустил из рассматриваемого явления самую существенную его сторону и думал однако же понять и объяснить явление (...) Все рассуждения Милля ходят только вокруг да около; его скептицизм и неправильные попытки приложения экспериментального метода всего больше и яснее свидетельствуют об одном — о слепоте к самым ясным явлениям, о глухоте к самым громким требованиям человеческого природы. Женский вопрос, так, как понимает его Милль, вытекает не из сущности отношений между женщинами и мужчинами, а из источников совершенно посторонних».⁶

Толстой, отчасти возражая Страхову, а заодно корректируя и дополняя его статью, оспаривает существование фантастических, придуманных критиком «бесполох женщин» и пишет о необходимости в современном обществе «несчастных блядей»: «Эти несчастные всегда были и есть и, по-моему, было бы безбожием и бессмыслием допускать, что Бог ошибся, устроив это так, и еще больше ошибся Христос, объявив прощение одной из них (...) Допустить свободную перемену жен и мужей (как этого хотят пустобрехи либералы) — это тоже не входило в цели Провидения по причинам ясным для нас — это разрушало семью. И потому по закону экономии сил явилось среднее — появление магдалин, соразмерное усложнению жизни (...) Мне кажется, что этот класс женщин *необходим* для семьи, при теперешних усложненных формах жизни».⁷ Взгляд парадоксальный, но не столь уж оригинальный — Н. Н. Гусев справедливо полагал, что эти суждения заимствованы из сочинения Артура Шопенгауэра «О женщинах».

Позднее Толстой от точки зрения на магдалин как на специфическое социальное явление, исполняющее полезные функции в обществе, отказался. Да и Страхову это письмо не отослал, возможно почувствовав, что несколько неудобно и экстравагантно начинать переписку с разговора о пользе для семейной жизни «несчастных блядей». Примечательно однако, что именно статья «Женский вопрос», а не критический анализ «Войны и мира», привлекла внимание Толстого, прямо или косвенно отразившись в целом ряде художественных и публицистических произведений, особенно в повести «Крейцеров соната», до которой, впрочем, тогда еще было далеко (далеко даже до «Анны Карениной»). В частности, уже в зародыше здесь присутствует один из мотивов повести: «Тот, кто жил с женщиной и любил ее, тот знает, что

⁶ Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1882. С. 200.

⁷ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 1. С. 2.

для женщины, рожаящей в продолжение 10, 15 лет, бывает период, в котором она подавлена трудом. Она носит или кормит; старших надо учить, одевать, кормить, болезни, воспитание, муж и вместе с тем темперамент, который должен действовать, ибо она должна рожать. В этом периоде женщина бывает, как в тумане напряжения, она должна выказать упругость энергии непостижимую, если бы мы не видали ее (...). В этом-то периоде представьте себе женщину, подлежащую искушениям всей толпы неженатых кобелей, у которых нет магдалин...»⁸

Обратил внимание на статью «Женский вопрос» и постоянный читатель сочинений Страхова, журнальный коллега Достоевский. Через шесть лет книгу Милля (и, разумеется, яркую статью Страхова) вспомнит герой повести «Кроткая», которая невольно в нашем сознании рифмуется с «Крейцеровой сонатой».

Достоевский в толстовском письме-прологе к эпистолярному диалогу со Страховым не упомянут, но он, так сказать, незримо присутствует, а по мере развертывания переписки начнет периодически мелькать. Долгое время в письмах Страхова преимущественно как будто случайная и не очень обязательная информация: мелочи литературно-журнальной жизни, отчасти факты, отчасти сплетни, до которых, надо сказать, Страхов был охоч.

Это естественно: с Достоевским Страхова связывали давние приятельские и литературные отношения, хотя они то и дело осложнялись и портились — вот и в середине 70-х годов произойдет очередное охлаждение, вызванное публикацией Достоевским романа «Подросток» в «Отечественных записках», что было воспринято Страховым и Майковым как измена. Толстого это, однако, никоим образом не касалось: он был далек от журнальных партий и баталий, не сочувствовал направлению как радикальных «Отечественных записок», так и почвеннической, консервативной «Зари» (другое дело, что фактический редактор журнала Страхов чрезвычайно хлопотал об участии в «Заре» Достоевского и Толстого, в чем и преуспел), а роман Достоевского ему положительно не нравился.

В 1873 году Достоевский стал редактором еженедельника «Гражданин», о чем, как о самой важной новости, которая, несомненно, коснется его, с некоторой тревогой пишет Страхов Толстому: «Достоевский стал редактором *Гражданина*. Живю воображаю, как в нем разгорелась страсть журналиста, и не знаю, не пожалеть ли об этом. А впрочем, человеку не нужно мешать делать, что он любит делать. Одна беда: он меня теперь запряжет; от него ничем не отговориться, и у меня в перспективе — работать всякие статейки для *Гражданина*».⁹ Очевидно, что связующие их узы еще прочны; их не то что порвать, даже ослабить трудно — своего рода кабальный договор. Страхова иногда тяготит эта зависимость, эти «приятельские» долги. Он жалуется Толстому: «Достоевским я очень недоволен: он стареет видимо с каждым днем. *Гражданин*, в котором он редакторствует, очень его волнует, тревожит, раздражает. Пишет он вещи не глупые, но странные, недоконченные, неясные; сам это чувствует и не может вырваться из положения, в которое себя поставил».¹⁰ Постепенно недовольство усиливается, хотя литературная работа, по которой Страхов соскучился, и увлекает: «...никогда еще не чувствовал я такого отвращения к своим статьям, как то, которое во мне возбудили мои статейки для *Гражданина*; или уж так противно показалось мне выступать на арену журналистики: но во всяком случае я представился себе

⁸ Там же. С. 2—3.

⁹ Там же. С. 94.

¹⁰ Там же. С. 98.

болтуном, в котором уже простыл всякий жар. А ведь писалось как будто с увлечением».¹¹

Есть что-то двойственное в позиции Страхова: газетная работа одновременно мучительна, отвратительна и привлекательна. Испытывает удовольствие от этой литературной деятельности, радуется тому, что она получает признание, одобрение — пусть и не в широкой публике: «Статьи мои в *Гражданине* имеют большой успех, но как всегда — не в публике, а в литературе, которая хвалит их на словах, а в печати, разумеется, только ругает».¹² Так пишет Страхов Толстому, отношение которого к газетам оставалось хорошо известным. Мнение Толстого о газетах, критике и критиках ему хорошо известным, и он неустанно доводил его до сведения Страхова, сокрушаясь по поводу участия того в «Гражданине»: «Жалко, ужасно жалко, что вы опять пишете в газеты. Что делать! — видно Бог по-своему делает, и никак не догадаешься зачем».¹³ Потому-то Страхов и оправдывает свои газетные хлопоты особенными отношениями с Достоевским, потому-то и радуется (за себя и за него) скорому уходу Достоевского с поста редактора еженедельника: «Достоевский видит во мне старого уже товарища по литературе, очень любит мои статьи, и считал бы просто *изменою*, если бы я не участвовал в журнале, на который он кладет всю душу — совершенно понапрасну. Я и лавирую — от времени до времени пишу и стараюсь сделать что можно, — подыскиваю сотрудников, смотрю рукописи и пр. (...) к новому году, я надеюсь, я буду уже вполне свободен (...) и с *Гражданином*, когда обнаружится состояние подписки, можно совершенно раскланяться, т. е. объявить, что на будущий год дам только две-три статейки. Достоевский едва ли останется редактором; он очень болен, раздражен, и доктора его шлют в Италию».¹⁴

В то же время Страхов привязался к «Гражданину»; жалеет, что с уходом Достоевского еженедельник сильно проиграет: «Жалко, что *Гражданин* портится. Достоевский отказался от редакторства и, кажется, вся газета обратится в орган *петербургских духовных споров*». Литературная работа увлекла Страхова; слегка задевая Толстого, он в шутовском тоне пишет, что «по настоянию Достоевского, убеждавшего меня писать *критику*... читал современные романы» («открою Вам самое позорное из своих занятий»); он чувствует неодолимое влечение к газетно-журнальной деятельности: «Кстати о критике. Что же мне делать, Лев Николаевич, когда меня к ней тянет? А я понимаю, что успех может иметь только положительное, только *проповедь* или искусство».¹⁵

Страхов привык к лестным оценкам своих критических статей коллегами и друзьями. Сравнительно недавно (26 февраля 1869 года) к нему писал Достоевский, ставя Страхова выше обожаемого критиком Аполлона Григорьева: «У вас язык и изложение несравненно лучше григорьевского. Ясность необычайная, но всегдашнее *спокойствие* придает Вашим статьям вид *отвлеченности*». И в другом письме через год: «...не будь теперь ваших критик, и ведь у нас совсем уж не останется *никого*, в целой литературе, кто бы смотрел на критику как на дело серьезное и строго необходимое». В воспоминаниях Страхов с благодарностью напишет: «Хотя я уже имел маленький успех в литературе и обратил на себя внимание М. Н. Каткова и Ап. А. Григорьева, все-таки я должен сказать, что больше всего обязан в этом отношении Федору Михайловичу, который с тех пор отличал меня, по-

¹¹ Там же. С. 106.

¹² Там же. С. 112.

¹³ Там же. С. 122.

¹⁴ Там же. С. 126.

¹⁵ Там же. С. 153.

стоянно ободрял и поддерживал и усерднее чем кто-нибудь до конца стоял за достоинства моих писаний».¹⁶

Чрезвычайно важно тут сказать об одном обстоятельстве. Страхов не только отстаивает свое право быть литературным критиком, но и выражает обиду на то, что Толстой демонстративно не замечает цикл его статей о «Войне и мире». А ведь он несколько раз подчеркивал в письмах к «бесценному» и «несравненному» Льву Николаевичу: «Лучшим своим делом я считаю все-таки мою критическую поэму в четырех песнях — *Критический разбор „Войны и мира“*».¹⁷ О «поэме» Страхова Толстой промолчал — неудобно было выражать одобрение тому пафосу, тем восторженным эмоциональным оценкам, которые содержались в статьях обычно сдержанного и скуповатого, крайне скупого на комплименты критика.¹⁸ А по поводу литературной критики Толстой вновь отозвался неодобрительно, но в изящно-парадоксальной форме: «Но критика ваша любимая — это ужасное дело. Одно ее значение и оправдание, это — руководить общественным мнением; но тут и выходит каламбур — когда критика мелет околесную, она руководит общественным мнением, но как только критика, как ваша, исходит из искренней и (ernst) серьезной мысли, она не действует, и как будто ее не было».¹⁹

Получив такой остроумный и дипломатичный ответ, Страхов, похоже, несколько растерялся, но, конечно, остался при своих убеждениях, лишь на время отложив диалог о критике. Он был человеком обстоятельным, с большим упорством и изобретательностью умевшим отстаивать свои взгляды. В диалоге с Толстым Страхов к одним и тем же вопросам (особенно если речь шла о щекотливых и сугубо личных материях) возвращался и через двадцатилетний промежуток (памятью обладал феноменальной). Толстой высоко ценил эти качества Страхова, независимость суждений и умение деликатно, но твердо их отстаивать. Вот и к разговору о критике Страхов вернется в 1876 году, выслав Толстому только что изданный им том сочинений Аполлона Григорьева. Толстой умысел Страхова, конечно, понял, но к критике отнюдь не стал относиться лучше. С некоторым неудовольствием из-за того, что его время хотят занять всякими пустяками, выговаривал: «Я прочел предисловие, но — не рассердитесь на меня — чувствую, что, посаженный в темницу, никогда не прочту всего. Не потому, что не ценю Григорьева — напротив, но критика для меня скучнее всего, что только есть скучного на свете. В умной критике искусства всё правда, но не *вся* правда, а искусство потому только искусство, что оно *всё*». Памятуя о «критической поэме» Страхова, Толстой обращается к нему с просьбой не хвалить роман «Анна Каренина»: «Покажите мне искреннюю дружбу: или ничего не пишите мне про мой роман, или напишите мне только всё, что в нем дурно». И присовокупил к просьбе грустное и резкое обобщение: «Мерзкая наша писательская должность — развращающая. У каждого писателя есть своя атмосфера хвалителей, которую он осторожно носит вокруг себя и не может иметь понятия о своем значении и о времени упадка».²⁰

Страхов ответил Толстому бесподобно: «*Искусство — всё*, Вы пишете; да так именно и думал Ап. Григорьев, и он один так думал. Можно сказать,

¹⁶ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 177.

¹⁷ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 1. С. 138.

¹⁸ По свидетельству С. А. Толстой, статьи Страхова о «Войне и мире» (Толстой их читал в журнале «Заря», который регулярно высылался в Ясную Поляну) радовали писателя (Толстая С. А. Дневники. М., 1978. Т. 1. С. 497, 498).

¹⁹ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 1. С. 151.

²⁰ Там же. С. 259.

что его книга написана *против критики*». ²¹ Толстой оценил тонкость и остроумие ответа и указал на типичную ошибку критиков вообще и тем более «близоруких», разозливших его самоуверенными разборами романа «Анна Каренина»: «Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредством — словами описывая образы, действия, положения». ²² Этот своеобразный эстетический закон и объясняет равнодушие Толстого к статье великого критика Григорьева, деятельность которого для просвещения читателей он готов признать полезной: «... вот почему такая милая умница, как Григорьев, мало интересен для меня. Правда, что если бы не было совсем критики, то тогда бы Григорьев и вы, понимающие искусство, были бы излишни. Теперь же, правда, что когда 9/10 всего печатанного есть критика, то для критики искусства нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении; а постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и к тем законам, которые служат основанием этих сцеплений».

Сказано отчасти косноязычно, но точно: Толстой, так сказать, «отступает», заодно четко формулируя главную задачу литературной критики. И подкупающим образом извиняется перед Страховым, уличая себя в невольной неискренности и авторской слабости: «Когда я перечел свое последнее унылое и смиренное письмо, я понял, что я, в сущности, прошу похвалы, и вы мне прислали ее. И она, ваша похвала — я знаю, искренная, хотя, боюсь, охотничья — мне очень, очень дорога». ²³

Позднее Толстой уточнит свою мысль: «Боюсь и не люблю критик и еще больше похвал, но не ваших. Они приводят меня в восторг и поддерживают силы к работе. Не могу однако не думать, что вы говорите мне больше, чем говорите себе, зная, как это мне радостно». ²⁴ Начавшая было возникать неприязненность снята. Толстой, ценя искренность и высоту эстетических критериев Страхова, по сути, поприслужившись постоянным советчиком и беспристрастным рецензентом (время от времени он возобновлял свои просьбы, и тот охотно и добросовестно исполнял эту работу). Драгоценное обстоятельство как для Толстого, так и для русской литературы. Многие письма Страхова к Толстому — жемчужины русской литературной критики XIX века.

Посылал такого рода литературные письма с критическими разборами произведений и советами Страхов и Достоевскому, но далеко не так регулярно и с годами все реже. Достоевскому мнения опытного и глубокого критика были весьма необходимы. Радовался, получив одобрительные слова о «Вечном муже»: «С жадностью прочел... ваши несколько строк одобрения о моем рассказе. Это мне и лестно и приятно; читателям, как вы, я и всегда желал бы угодить и желаю угодить». Он с плохо скрываемой обидой и ревнивым чувством наблюдал явственно обозначившийся поворот Страхова к Толстому — ожидаемый, но, пожалуй, слишком уж резкий. В письме к Страхову от 26 февраля 1869 года Достоевский оценивает этот уже для всех

²¹ Там же. С. 265.

²² Там же. С. 267.

²³ Там же. С. 268.

²⁴ Там же. С. 331.

ставший очевидным факт сдержанно и спокойно, характеризуя статьи о «Войне и мире»: «...у нас критик не иначе растолкует себя, как являясь рука об руку с писателем, приводящим его в восторг (...) У Вас бесконечная, непосредственная симпатия к Льву Толстому, с тех самых пор как я Вас знаю. Правда, прочтя статью Вашу в „Заре“, я первым впечатлением моим ощутил, что она *необходима* и что Вам, чтоб по возможности высказаться, иначе и нельзя было начать как с Льва Толстого, то есть *с его последнего сочинения* (...) Ясно, логично, твердо-сознанная мысль, написанная изящно до последней степени» (29, кн. 1, 16—17).²⁵ О несогласиях пока глухо, между прочим, почти в скобках: «Но кой в чем в подробностях я не согласился». Чуть-чуть позже, в письме от 6 апреля, похвала несколько поблекла. Выясняется, что критическая работа Страхова «Бедность русской литературы» ему «понравилась больше, чем статья о Толстом. Она шире будет. Но зато первая половина статьи о Толстом — ни с чем не сравнима: это идеал критической постановки. По-моему, в статье есть и ошибки, но, во 1-х, это только по-моему, а во 2-х, и ошибки такие хороши. Эта ошибка называется *излишнее увлечение*, а это всегда делу спорит, а не вредит. Но, в конце концов, я еще не читывал ничего подобного в русской критике» (там же, с. 35—36).

Немного туманно, с неперенными уточнениями, оговорками, недомолвками. Вскоре Достоевский выскажется определеннее и с плохо скрытым раздражением. Возмутили Достоевского слова Страхова: «„Война и мир“ есть произведение *гениальное*, равное всему лучшему и истинно-великому, что произвела русская литература». Достоевский готов был признать Толстого первым из современных русских писателей, о чем еще в декабре 1868 года писал Страхову, не разделяя, впрочем, чрезмерных его восторгов: «Вы очень уважаете Льва Толстого, я вижу; я согласен, что тут есть и *свое*; да мало. А впрочем, он, *из всех нас*, по моему мнению, успел сказать наиболее своего и потому стоит, чтоб поговорить о нем» (28, кн. 2, 334). Но на этот раз Достоевский восстал, послав гневный реприманд Страхову: «Две строчки о Толстом, с которыми я не соглашаюсь вполне, это — когда Вы говорите, что Л. Толстой равен всему, что есть в нашей литературе великого. Это решительно невозможно». Гении, согласно концепции Достоевского, Ломоносов и Пушкин, особенно Пушкин, «явившийся с гениальным *новым словом*», но никак не Толстой, «как бы далеко и высоко ни пошел» он «в развитии уже сказанного в первый раз...» (29, кн. 1, 114).

Страхов, нисколько не оспаривая общий, незыблемый для всех почвенников авторитет Пушкина, придерживался все-таки другого мнения. Подчеркивал именно «безмерную высоту» эпопеи Толстого. С пафосом, обычно чуждым ему, он писал (и кажется, впервые так было сказано о русском романе): «Если теперь иностранцы спросят у нас о нашей литературе, то мы не скажем им в ответ, что она подает прекрасные надежды, что она заключает великолепные задатки, не станем пускаться в оговорки и приводить разные смягчающие обстоятельства, чтобы объяснить уродливость и односторонность современных наших литературных авторитетов; мы прямо укажем на „Войну и мир“, как на зрелый плод нашего литературного движения, как на произведение, перед которым мы сами преклоняемся, которое для нас дорого и важно не *за неимением лучших*, а потому, что оно принадлежит к самым великим, самым лучшим созданиям поэзии, какие мы только знаем и

²⁵ В дальнейшем особая расположенность Страхова к Толстому перерастет в поклонение и обожествление. «Страхов действительно стал чем-то вроде особого критика, уже как бы полностью Толстым поглощенного, специально при Толстом, для Толстого и о Толстом», — пишет Н. Н. Скатов, автор предисловия к собранию литературных статей критика (Страхов Н. Н. Литературная критика. М., 1984. С. 42).

можем вообразить. Западные литературы в настоящее время не представляют ничего равного и даже ничего близко подходящего к тому, чем мы обладаем».²⁶ Несколько лет спустя, по поводу «Анны Карениной», Достоевский и сам выскажется в том же духе. Но тогда он был задет восторгами Страхова. Возможно, был задет и мыслями критика о «составе наших художественных писателей», который с 1868 года, после появления «Войны и мира» «получил иной вид и иной смысл»: «Гр. Л. Н. Толстой занял первое место в этом составе, место неизмеримо высокое, поставившее его далеко выше уровня остальной литературы. Писатели, бывшие прежде первостепенными, обратились теперь во второстепенных, отошли на задний план».²⁷ Толстой превзошел как своих сверстников, так и близких по времени предшественников: «Он выступил на свое поприще вместе с Островским и Писемским: он явился со своими произведениями немногим позже Тургенева, Гончарова, Достоевского. Но между тем, как все его сверстники по литературе давно уже высказались, давно обнаружили наибольшую силу своего таланта, так что можно было вполне судить о его мере и направлении, — гр. Л. Н. Толстой все продолжал упорно работать над своим дарованием и вполне развернул его силу только в „Войне и мире“».²⁸ Достоевский, Тургенев и другие вдруг превратились в «меньшие светила, озаряющие нашу жизнь таким слабым и неровным, а часто даже совершенно неправильным светом».²⁹

Достоевский не мог не испытывать чувства горечи и обиды на близкого литературного приятеля (и друга семьи, так сильно опечалившего позднее Анну Григорьевну своим оскорбительным письмом Толстому³⁰). Отзывы Страхова о произведениях Достоевского в печати (да и в письмах) были редкими и сдержанными. Исключением, пожалуй, была только большая критическая работа о романе «Преступление и наказание» (1867), одобренная, согласно воспоминаниям самого рецензента, Достоевским: «Ф. М., прочитавши ее, сказал мне очень лестное слово: „вы одни меня поняли“» (Страхов старательно воспроизвел все положительные отзывы Достоевского о своих литературно-критических и философских работах и в письмах к Толстому).³¹ Но надо отдать должное Страхову: он сам признавался, что разбор романа написан «сдержанным и сухим тоном», что «был виноват именно в том, что холодно и вяло говорил о таком поразительном литературном явлении».³²

Но и у Достоевского имелись серьезные основания так отзываться о статьях Страхова — они, несомненно, самая глубокая и значительная работа современника о романе Достоевского. Уверенно и остроумно полемизиру-

²⁶ *Страхов Н. Н.* Литературная критика. С. 351.

²⁷ Там же. С. 350.

²⁸ Там же. С. 307.

²⁹ Там же. С. 351. Правда, позднее в статье «Поминки по Аполлоне Григорьеве» (1889) Страхов «уравнял» Достоевского с Толстым: «...два писателя, Достоевский и Л. Н. Толстой, только после смерти Григорьева вполне раскрыли свои силы, приобрели значение, можно сказать, отодвинувшее на второй план всех предыдущих» (*Страхов Н.* Воспоминания и отрывки. СПб., 1892. С. 248). И несколько раньше в статье «Взгляд на текущую литературу» (1883) он писал накануне выхода первого тома собрания сочинений Достоевского: «...только теперь эти сочинения получают наибольшее свое распространение и действие», «это целая туча самых живых и разнообразных задач» (*Страхов Н. Н.* Литературная критика. С. 394).

³⁰ С вдовой Достоевского Страхов сохранял дружеские отношения и после публикации «Воспоминаний». Книгу «Воспоминания и отрывки» подарил ей с такой надписью: «Анне Григорьевне Достоевской в знак давней приязни и душевного уважения от Н. Страхова. 9 дек. 1892. СПб.».

³¹ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 290. Привел он и такие слова Достоевского, обрадовавшие самолюбивого философа: «Да половина моих взглядов — ваши взгляды» (там же, с. 238).

³² Там же.

ет Страхов с разными критическими разборами романа. Отдавший так много сил и времени борьбе с нигилизмом, критик увидел в произведении Достоевского виртуозный и всесторонний анализ этого болезненного явления и коренное отличие Родиона Раскольникова от стандартных и клишированных образов нигилистов в романах и повестях других русских писателей: «Это не фразер без крови и нервов, это — настоящий человек».³³ Достоевский, как великолепно формулирует Страхов, «взял натуру более глубокую, приписал ей более глубокое уклонение от жизни, чем другие писатели, касавшиеся нигилизма. Цель его была — изобразить страдания, которые терпит живой человек, дойдя до такого разрыва с жизнью. Совершенно ясно, что автор изображает своего героя с полным состраданием к нему. Это не смех над молодым поколением, не укоры и обвинения, это — плач над ним». Страхов подчеркивает, что «в первый раз перед нами изображен нигилист несчастный, нигилист глубоко человечески страдающий».³⁴

Страхов прямо связывает Раскольникова с героем романа Тургенева «Отцы и дети» (связь очевидная и хорошо чувствуемая Достоевским, достаточно вспомнить сказанное писателем о Базарове): «...это не есть тип нигилистический, но видоизменение того типа настоящего нигилиста, который всем более или менее знаком и который всех раньше и всех метче был угадан Тургеневым в его *Базарове*».³⁵

О романе Тургенева Страхов писал пятью годами раньше в журнале «Время». Это один из самых содержательных критических отзывов об «Отцах и детях» и одна из самых удачных, вдохновенно написанных статей Страхова, во всяком случае, о вялости, холодности, скупости и сдержанности здесь не может быть и речи. В «Преступлении и наказании» Страхов находил «значительные недостатки, которые мешают художественной ясности образов, а следовательно, и препятствуют их ясному пониманию», «...автор... описывает нам всевозможные изменения одних и тех же чувств. Это сообщает монотонность всему роману, хотя не лишает его занимательности. Но роман томит и мучает читателя, вместо того, чтобы поражать его. Поразительные моменты, которые переживает Раскольников, теряются среди его постоянных мучений, то ослабевающих, то снова поражающих. Нельзя сказать, чтобы это было неверно; но можно заметить, что это неясно. Рассказ не сосредоточен около известных точек, которые бы вдруг озарили для читателя всю глубину душевного состояния Раскольникова».³⁶ А вот в романе Тургенева Страхов, которому, похоже, гораздо симпатичней была такая реалистическая манера письма, никаких недостатков не обнаруживал. Ему радостно, что Тургенев-художник остался верен «своему художественному дару»: «...поклонник вечной истины, вечной красоты, он имел гордую цель во временном указать на вечное и написал роман не прогрессивный и не ретроградный, а, так сказать, *всегдашний*».³⁷ Страхов к несомненному достижению Тургенева отнес образ Базарова, смысл которого глубоко истолковал (как и Достоевский, во многом это общая точка зрения, и трудно, даже невозможно определить, кто тут на кого повлиял): «Глубокий аскетизм проникает собою всю личность Базарова; это черта не случайная, а существенно необходимая»; «Базаров есть первое сильное лицо, первый цельный характер, явившийся в русской литературе из среды так называемого образованного общества»; «Базаров умирает совершенным героем, и его смерть произ-

³³ Страхов Н. Н. Литературная критика. С. 100.

³⁴ Там же. С. 101.

³⁵ Там же. С. 110.

³⁶ Там же. С. 99, 117—118.

³⁷ Там же. С. 184, 205.

водит потрясающее впечатление. До самого конца, до последней вспышки сознания, он не изменяет себе ни единым словом, ни единым признаком малодушия. Он сломлен, но не побежден».³⁸

Исключительно тонко и остроумно сказано в статье Страхова о резком национальном своеобразии героя, который в широком смысле есть «живое воплощение одной из сторон русского духа. Мы вообще мало расположены к изящному; мы для этого слишком трезвы, слишком практичны (...) Восторженность и высокопарность нам не по нутру; мы больше любим простоту, едкий юмор, насмешку. А на этот счет, как видно из романа, Базаров сам великий художник»; «Все в нем необыкновенно идет к его сильной натуре. Весьма замечательно, что он, так сказать, *более русский*, чем все остальные лица романа».³⁹ Проницательно угадана Страховым и главная художественная мысль произведения, концепция поэтической и органической жизни, которая так неотразимо и многообразно присутствует в романе: «Обаяние природы, прелесть искусства, женская любовь, любовь семейная, любовь родительская, *даже* религия, все это — живое, полное, могущественное, — составляет фон, на котором рисуется Базаров. Этот фон так ярок, так сверкает, что огромная фигура Базарова вырезывается на нем отчетливо, но, вместе с тем, мрачно»; «Базаров — это титан, восставший против своей матери-земли; как ни велика его сила, она только свидетельствует о величии силы, его породившей и питающей, но не равняется с матернею силою».⁴⁰

Страхов создавал статью, находясь под сильным впечатлением от поэтической монографии Аполлона Григорьева о романе «Дворянское гнездо». Так о Тургеневе Страхов больше никогда не будет писать, особенно после возмущившего его, как почвенника, романа «Дым», о котором он высказался холодно и иронично, но все-таки не прибегая к фельетонным приемам критики, столь распространенным в то время (они не были чужды и Достоевскому, осуждавшему спокойный объективный стиль Страхова). Гнев Достоевского, вызванный монологами Потугина, был неудержим, но и объективный, сдержанный стиль Страхова безупречно оттенял враждебное неприятие критиком не только основных мотивов, но и поэтики романа Тургенева.

В романе Страхов увидел явный художественный регресс; он солидаризуется с замечанием «одного человека со вкусом», что «повесть... представляет большую картину, на которой не вполне дописано прелестное лицо Ирины, других же лиц совсем нет, и там, где им следует быть, поставлены мелом кружки вместо голов и линиями обозначено положение тела».⁴¹ Само собой разумеется, Страхов осудил тенденцию романа: «Ясно, как день, что в повести слышна раздражительность; ясно, как день, что эта раздражительность направлена против господствующего ветра. Этот ветер, вероятно, слышится г. Тургеневу, как и всякому, в каждой листке любой русской газеты. Это ветер противный обличительному и самооплевательному, веяние некоей народной гордости, самоуверенности, большее уважение к нашей истории, большая вера в насущные силы России, большая надежда на ее будущность. Говоря литературными формулами, все мы до 1862 года были более или менее западниками, а после этого года все более или менее стали славянофилами. Вот та превратность земных вещей, которая не нашла себе сочувствия в душе нашего поэта».⁴² Потому-то, считает Страхов, мнения По-

³⁸ Там же. С. 189, 198, 201.

³⁹ Там же. С. 192, 193, 198.

⁴⁰ Там же. С. 206—207, 208.

⁴¹ Там же. С. 223.

⁴² Там же. С. 225.

тугина «в целом удивительно мелки и поверхностны и доказывают, что русская жизнь может показаться дымом только тому, кто эту жизнь не живет, кто не участвует ни в едином ее интересе», и, напротив, для того, кто находится в гуще современной борьбы разных направлений, для кого эта борьба «составляет насущную задачу, радость и горе, для того должны показаться дымом слова и рассуждения, отрицающие серьезность нашей жизни».⁴³

Почти все произведения Тургенева после «Отцов и детей» Страхов не принимает, находя в этом совершенное понимание со стороны Достоевского и отчасти Толстого (но только отчасти — в конце концов, под влиянием возобновившегося дружеского общения с Тургеневым Толстого «примирился» с ним и критик). Сравнительно мягким был его отзыв о романе «Ночь», который заинтересовал Толстого, — «неудача», но все же «очень любопытен и важен по содержанию, и если не имел никакого успеха, то это только доказывает, что никакое содержание не спасет произведения, грешащего против художества, не поднимающегося на высоту действительно поэтического созерцания». А «художество» в «Нови» критика совершенно не удовлетворяет: «Очевидная вялость и бессвязность романа, в котором лица без достаточного основания мечутся из одного места в другое и внутренние мотивы их действий выясняются очень слабо, зависят, нам кажется, от слабости того интереса, который автор питает к предмету. Автор сочинял, а не вдохновлялся широкою и свободною точкою зрения».⁴⁴ Страхову вообще не по душе была та литературная «школа», которая «обязанности художников считает гонять себя за современными явлениями, уловлять последние народившиеся типы людских характеров и положений».⁴⁵ К ней Страхов относил не только Тургенева, но и Достоевского, но у последнего в отличие от Тургенева публицистическое начало сочеталось со «стремлением к чистому искусству, то есть к глубочайшим и вековечным задачам».⁴⁶ Противопоставление Достоевского Тургеневу уязвимо, да Страхов тут и противоречит самому себе — он ранее совсем иначе отзывался о художественности Тургенева, подхватывая суждения Аполлона Григорьева. Но здесь существеннее отметить другое: нерасположенность Страхова к школе Тургенева—Достоевского, к ее литературным принципам и приемам, которые Страхов был склонен квалифицировать как «западнические» (уже — французские).

Симпатия к содержанию романов Достоевского (что естественно — общее «почвенническое» направление) сосуществовала рядом с неприятием его поэтики, того, что представлялось Страхову чрезмерным, хаотичным, утрированным. Почти все реплики Страхова о Достоевском-художнике в письмах к Толстому прохладные или отрицательные. Это относится и к отдельным произведениям, и к стилю, и к героям. Страхов аккуратно сообщал Толстому об успехе романа «Анна Каренина» в петербургских читательских кругах. В апреле 1877 года: «Достоевский, Порецкий, Ал. Ал. Майкова, О. Ковалевская, и пр. и пр. — каждый раз обращаются ко мне с восторгами, имеющими настоящий тон».⁴⁷ Через месяц вновь: «Достоевский машет руками и называет Вас богом искусства. Это меня удивило и порадовало — он так упрямо восставал против Вас».⁴⁸ О том, почему и против чего восставал Достоевский «так упрямо», Страхов не пишет, но, надо полагать, это те критические мысли, которые тот изложил в «Дневнике писателя». Язвительно отозвался Страхов о

⁴³ Там же. С. 226, 232.

⁴⁴ Там же. С. 398, 399.

⁴⁵ Там же. С. 398.

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 1. С. 329.

⁴⁸ Там же. С. 335.

статье В. Г. Авсеенко об «Анне Карениной» и его «светском» романе «Млечный путь», этом галантерейном подражании Толстому. Авсеенко беспощадно высмеял Достоевский; его формулой, кстати, и воспользовался Страхов: «Право, это люди из бумаги, как говорит Достоевский».⁴⁹

Что касается Страхова, то для него роман Толстого не шел ни в какое сравнение даже с наиболее известными произведениями популярных европейских и русских писателей. В апрельском письме Толстому за 1876 год он с восторгом заявляет, что не знает таких описаний «любви как страсти ни у кого, кроме разве Мюссе, немножко Жорж Занда, и немножко Тургенева. Почти непонятно, каким образом Достоевский, столько волоочившийся и дважды женатый, не может выразить ни единой черты страсти к женщине, хотя и описывает невероятные сплетения и увлечения таких страстей».⁵⁰ Занятое, спонтанно вырвавшееся мнение убежденного холостяка⁵¹ Страхова о Достоевском — художнике и человеке, предстающем вопреки всем фактам и свидетельствам современников в облике многоопытного ловеласа, который позднее большая фантазия Страхова трансформирует в образ злого и извращенного развратника.⁵² Недоброжелательное чувство вдруг стало изливаться, но было тут же подавлено. Неприятие же художественного мира Достоевского очевидно. И такова постоянная позиция Страхова; он промолчит о романах «Идиот» и «Подросток», а «Бесов» упомянет мельком, в связи с нигилизмом и борьбой с ним — общей, как ему представлялось, борьбой.⁵³

⁴⁹ Там же. С. 311.

⁵⁰ Там же. С. 265.

⁵¹ Понятно, что и родня и знакомые усиленно его «толкали жениться». К добровольным свахам присоединилась и Софья Андреевна, говорившая ему, «что это вовсе не трудно». Для графини специально Страхов рассказывает анекдотичную историю об одной из тех, кого прочли ему в жены (в письме Толстому от 12 сентября 1871 года), дабы прекратить эти, неприятные для него разговоры. Иногда Страхов писал Толстому о горькой участи бобыля, но, похоже, то были вошедшие в привычку жалобы; к семейной жизни он давно перестал стремиться, в пору знакомства с Толстым был уже законченным, убежденным холостяком. Толстой со свойственной ему деликатностью этого сюжета в переписке не касался. Однажды, впрочем, он невольно обидел Страхова. Сообщая о смерти сына Пети, между прочим, Толстой заметил: «Значение этой смерти несемейный человек понять не может» (Там же. С. 132).

⁵² Поразительно и такое признание Страхова, не очень уместное и странное, в письме Толстому от 11 марта 1879 года, должно быть, неприятно поразившее того болезненным тоном: «Я Тургенева и Достоевского, простите меня, не считаю людьми; но Вы — человек, и не поверите, как отратно такому смутному и колеблющемуся существу, как я, увериться, что он встретил настоящего человека» (Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 502).

⁵³ Эту борьбу Страхов неизменно выделял. В статье «Взгляд на текущую литературу» он в самую большую заслугу Достоевскому ставил талантливое исследование болезней русского общества, благотворное влияние на «заблудшую» молодежь («Вот пример и поучение для всех наших партий»): «Молодые люди, именно те, которые искали выхода из своих мрачных и страшных убеждений, не только охотно читали Достоевского, но и обращались к нему частным образом, ожидая опоры и руководства. Достоевский, однако, не был ни мыслителем, ни публицистом в настоящем смысле слова; больше всего он был художником, и своим художническим чутьем он различал правду и заблуждение, добро и зло. Он проповедовал не столько логически, сколько психологически, и в своих романах он всего полнее выразил свои стремления и свои взгляды на состояние русских умов и душ. Никто с такою верностью и глубиной не изображал всякого рода нигилистов, и при этом он обнаруживал в отношении к одним презрение и негодование, но в отношении к другим — участие и сострадание. Он понимал то, что совершается в людях, сбившихся с прямого пути. Главною темою его был — *раскаившийся нигилист*; таковы: Раскольников, Шахов, Карамазов и пр.» (Страхов Н. Н. Литературная критика. С. 393). Кульминацией темы, считал Страхов, стала «поэмка» Ивана Карамазова: «В *Легенде об великом инквизиторе* нигилизм возведен на свою высшую точку, до мыслей грандиозных в своей кощунственности; чувствуется, что этот Иван Карамазов должен повернуть и, если повернет, с такою же силою уйдет в противоположную сторону» (Там же. С. 406). И позднее писал в статье «Поминки по Аполлоне Григорьеве»: «Были... люди отзывчивые, схватившиеся с нигилизмом грудь с грудью и осветившие глубочайшие припадки этой болезни — таков был Достоевский» (Страхов Н. Воспоминания и отрывки. С. 249).

Даже в речи, произнесенной на торжественном собрании С.-Петербургского Славянского Благотворительного Общества в память Достоевского 14 февраля 1881 года, Страхов счел необходимым обратить внимание на характерные, с его точки зрения, недостатки Достоевского-художника — «на неправильную и неясную постройку иных романов (не в целом, которое весьма было стройно и ясно, а в частях)», «на полуфантастическую постановку сцен и отношений между действующими лицами».⁵⁴

Не в восторге Страхов и от последнего романа Достоевского «Братья Карамазовы», хотя и пишет о своеобразной силе Достоевского и читательском успехе: «По обыкновению автора весь роман имеет несколько фантастический колорит, состоящий в том, что события и встречи следуют друг за другом с ненатуральной быстротою и отчасти произвольно, но еще более в том, что все действующие лица исполнены слишком сложных и слишком быстро сменяющихся чувств. Любовь и ненависть, подозрение и вера, радость и отчаяние и т. д. говорят в душе каждого лица почти в одно время; при взаимных сношениях эти лица почти не могли бы понимать друг друга, если бы все не имели равно этого особенного душевного строя. Хотя, таким образом, внутренние и внешние элементы рассказа сочетаются ненормально и, сверх того, беспрерывно повторяются в новых вариациях, но сами по себе эти элементы глубоко реальны, в чем и состоит сила Достоевского и на чем основано было его собственное убеждение в реализме создаваемых им картин. Внутренняя правда душевных движений, которые он выставлял напоказ, зрительно увлекала читателей, несмотря на все внешние недостатки рассказа».⁵⁵

Осторожный и стремящийся к несколько обтекаемым и почти всегда сбалансированным суждениям, Страхов видит сильные стороны в своеобразном, «фантастическом» реализме Достоевского, но явно предпочитает реалистическое искусство Толстого с культом Простоты, Добра и Правды и даже «нормальный» и поэтический реализм Тургенева в «Записках охотника» и «Отцах и детях».⁵⁶

В значительно большей степени Страхов ценил публицистику Достоевского — особенно «Дневник писателя» и Пушкинскую речь, которой Страхов посвятил немало патетических страниц как в воспоминаниях, так и в других своих сочинениях 80-х годов. В середине 70-х между Достоевским и Страховым возникло очередное и продолжительное охлаждение, о котором критик глухо и туманно пишет в воспоминаниях: «Непобедимая мнительность иногда заставляла его смотреть и на меня, как на человека, имеющего к нему что-то враждебное, недостаточно к нему расположенного, и это очень горчало меня. „Он несправедлив, — думал я, — он мог бы знать мои чувства и верить в них“. Я старался победить в себе раздражение, вероятно, чешечур самолюбивое, делал некоторые приступы к большему сближению и о последнего времени все мечтал, как о большом благополучии, о возможности восстановить вполне наше прежнее взаимное расположение. Охотно признаю себя виновным, что не вполне сумел и успел в этом; с его стороны, уверен, было такое же желание».⁵⁷ Извещая Толстого о смерти Достоев-

⁵⁴ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. Приложения. 65.

⁵⁵ Страхов Н. Н. Литературная критика. С. 404—405.

⁵⁶ Страхов-художник испытал сильное влияние Тургенева, о чем убедительно свидетельствует «Последний из идеалистов (Отрывок из неписанной повести)» (1866) — вариации на тему «Гамлета Щигровского уезда». Прозаический фрагмент, очевидно, был дорог Страхову: он включил его в книгу «Воспоминания и отрывки».

⁵⁷ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 317—318.

ского, Страхов упомянет вскользь о «глупых размолвках» и о том, что они «не ладили все последнее время». ⁵⁸ Восстановить в полном объеме прежние добрые отношения все же не удалось, хотя Пушкинская речь Достоевского, обрадовавшая Страхова, создала для этого прекрасные возможности. Вскоре последовавшая смерть Достоевского прервала начавшийся примирительный процесс.

В наиболее концентрированном и очищенном от разных посторонних мотивов виде Страхов сказал о «Дневнике писателя» и Пушкинской речи в статье «Взгляд на текущую литературу». Никогда так торжественно и с пафосом Страхов не писал о Достоевском: это «явление», которое «в нашей литературе занимало большое, даже огромное место»; он «был главным деятелем и представителем некоторого *петербургского славянофильства*, составившего совершенно особую струю в потоке петербургской журналистики, струю, расширяющуюся с каждым годом. Его „Дневник“, его речь на Пушкинском празднике, его публичные чтения были рядом истинных побед над публикою; когда он умер, уважение и любовь к нему вспыхнули ярким пламенем, которого не забудет никто из видевших». ⁵⁹ Апофеоз Достоевского — его триумфальная речь, взволнованное слово писателя ко всем слоям раздираемого противоречиями русского общества: «Огромное влияние Достоевского нужно причислить, конечно, к самым отрадным явлениям, и в нем есть одна черта, заслуживающая величайшего внимания. Эта черта — отсутствие злобы в постановке нашей великой распри между западной и русской идеею. Эта черта поразила всех в пушкинской речи Достоевского, но она же характеризует собою и его „Дневник“, и его романы. При всей резкости, с какою он писал, при всей вспыльчивости его слога и мыслей, нельзя было не чувствовать, что он стремится найти выход и примирение для самых крайних заблуждений, против которых ратует. „Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек!“ Эти слова, которые с такой неизобразимой силою прозвучали в Москве над толпою, эти слова звучали не угрозой, не ненавистью, а задушевным, братским увещанием». ⁶⁰

Таковы же в основном и мотивы главки «Пушкинский праздник» в «Воспоминаниях» и одноименной статьи, в значительной степени воспроизведившей текст главки (но с некоторыми немаловажными дополнениями и изменениями: в статье появилось изложение выступлений Ивана Аксакова и Островского; ⁶¹ больше сказано о почвенниках, которых он здесь предпочитает назвать партией «*чисто литературною*, или, пожалуй, *пушкинскою*, наконец, просто *русскою*», ⁶² упомянет и о замеченном всеми отсутствии на празднике Льва Толстого). Страхов включил очерк в книгу «Заметки о Пушкине и других поэтах» (1888), которую завершает поздний, усталый и минорный мотив: «Хороший был праздник, и очень торжественный, и очень содержательный. Вернувшись с него, я тогда смело написал: „Статуя и торжество, конечно, много будут содействовать увековечению имени Пушкина“. Теперь, через восемь лет, я бы этого никак не сказал. И монумент, и

⁵⁸ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 591.

⁵⁹ *Страхов Н. Н.* Литературная критика. С. 392.

⁶⁰ Там же.

⁶¹ Счел необходимым Страхов, возвращаясь к событиям памятного дня, на этот раз сжато остановиться на некоторых темах речи Достоевского: «Здесь я хочу не разбирать или излагать эту речь, хочу только *напомнить* ее содержание читателям, для связи, для порядка рассказа» (Там же. С. 174).

⁶² Там же. С. 176. Вспомнит не только А. Григорьева, но и «восторженные речи и благородные фигуры Е. Н. Эдельсона, Б. Н. Алмазова», всю «*молодую редакцию* Погодинского „Москвитянина“». Подчеркнет и свою принадлежность пушкинской школе.

праздник уже кажутся мне очень незначительным делом для имени, которому выпала на долю действительная слава,

Могильный гул, хвалебный глас,
Из рода в роды звук бегущий.

Не мы Пушкину устроили памятник и праздник; скорее он их для нас устроил, он дал нам три дня чистого воодушевления, зажег в нас, хоть на время, искру лучшего существования.

И вообще, наши права и заслуги в рассуждении памяти Пушкина, мне кажется, еще очень не велики, и мы лучше сделаем, если будем помнить о своих обязанностях». ⁶³

Многое, очень многое изменилось за эти восемь лет. Радикально изменилось и отношение Страхова к Достоевскому. Теперь, возможно, ему неприятно было вспоминать то, что он писал о Пушкинской речи Достоевского, понятней стала критике и скептическая позиция Толстого, бойкотированного торжества. Это и выразилось в элегическом послесловии к статье. Но тогда, в 1880-м и в самые первые годы нового десятилетия настроения были совсем другие, праздничные и мажорные. Понемногу сглаживались недоразумения между Страховым и Достоевским. Выступил Страхов и посредником между писателями. Первый шаг к сближению сделал сам Толстой: в сентябрьском письме 1880 года он необыкновенно лестно отозвался о «Мертвом доме» и просил Страхова передать Достоевскому, что он его любит. Страхов охотно исполнил просьбу Толстого, передав при встрече с Достоевским его «похвалу и любовь». Сообщил он и Толстому о реакции Достоевского, ошеломленного тем, что Толстой поставил его, в сущности, выше Пушкина: «Он очень был обрадован, и я должен был оставить ему листок из Вашего письма, заключающий такие дорогие слова. Немножко его задело Ваше непочтение к Пушкину, которое тут же выражено («лучше всей нашей литературы, включая Пушкина»). «Как, — включая? — спросил он. Я сказал, что Вы и прежде были, а теперь особенно стали большим вольнодумцем». ⁶⁴

Чувствуется, какое удовольствие получает Страхов от доверительного и дружеского общения с Толстым и Достоевским. Недолго, однако, довелось Страхову исполнять функции посредника между ними. Смерть Достоевского, наступившая вскоре, навсегда сделала невозможной встречу писателей, о чем неоднократно сожалел Толстой. О смерти Достоевского известил Толстого Страхов, писавший ему о «чувстве ужасной пустоты, которая не оставляет его с той минуты, когда узнал об этом». Письмо органично вылилось в некролог, отчасти использованный критиком в воспоминаниях и поминальных речах и очерках: «В одно из последних свиданий я высказал ему, что очень удивляюсь и радуюсь его деятельности. В самом деле, он один равнялся (по влиянию на читателей) нескольким журналам. Он стоял особняком, среди литературы почти сплошь враждебной, и смело говорил о том, что давно было признано за *соблазн* и *безумие*... Он затмил Тургенева и наконец сам затмился. Но ему нужен был успех, потому что он был проповедник, публицист еще больше, чем художник». ⁶⁵

Попросил Страхов у Толстого и позволения сослаться на его письмо с отзывом о «Мертвом доме» (для речи в Славянском комитете). Оказывается, что и он сам под впечатлением от столь высокой похвалы «стал перечиты-

⁶³ Там же. С. 179—182.

⁶⁴ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 579.

⁶⁵ Там же. С. 591.

вать эту книгу и удивился ее простоте и искренности, которой прежде не умел ценить».⁶⁶ Получив разрешение, Страхов процитировал это место в своей речи 14 февраля, присовокупив: «Я принес это письмо Федору Михайловичу, и это была одна из прекрасных минут и для него, и для меня, как свидетеля».⁶⁷ Завершил Страхов речь, зачитав большой отрывок из письма Толстого — отклик на смерть Достоевского. Письмо тогда впервые прозвучало; его будут позднее непременно цитировать во всех биографиях Достоевского. Неудивительно — это с большой силой и душевным жаром вылившееся слово о Достоевском, венок на его могилу от создателя «Войны и мира» и «Анны Карениной»: «Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним; и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек. И никогда мне в голову не приходило меряться с ним, никогда. Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца — только радость. Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг читаю — умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, и потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу. На днях, до его смерти, я прочел „Униженные и оскорбленные“ и умилился».⁶⁸

«Умилением» завершилась и глава «Пушкинский праздник» биографии: «Это не простой литератор, а настоящий герой литературного поприща. В его сочинениях много мыслей, приводящих в умиление; но и сам он, как человек, с таким трудом создавший свою судьбу, бодро вынесший столько тягостей и волнений, достоин умиления».⁶⁹

Тон высшего почтения к литературному подвигу Достоевского Страхов сохранял почти неизменно вплоть до прозвучавшего, как гром с безоблачного неба, исповедально-обличительного письма критика Толстому от 18 ноября 1883 года. Не было никаких признаков вдруг разразившейся бури. Более того, огорченный равнодушным, а точнее, неодобрительным отношением Толстого к статьям «Письма о нигилизме», печатавшимся в еженедельнике «Русь», Страхов просит прочесть их внимательнее и прислать отзыв, вспоминая при этом, каким чутким и усердным читателем его критики был покойный Достоевский: «Как живо мне вспомнился при этом Достоевский! Он был мой усерднейший читатель, очень тонко все понимал и не прочитал только *Писем о спиритизме*, потому что был в этом вопросе так раздражен, что не в силах был читать», — пишет он Толстому в мае 1881 года.⁷⁰

В конце июля 1882 года Страхов сообщает Толстому, что приступает к работе над биографией Достоевского. Просит всяческой помощи и советов: «Жду возможности поговорить с Вами об этом. Я попробую рассказать Вам, что знаю, и попрошу Вашего совета — как это делать? К чему направить весь труд?»⁷¹ Ответ Толстого не сохранился (а он, конечно, был), но, судя по всему, Толстой отказался выступить советчиком в трудном и деликатном

⁶⁶ Там же. С. 592.

⁶⁷ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. Приложения. С. 67. Сказал в речи Страхов и о близости духовных путей Достоевского и Толстого, «двух наших лучших художников слова»: «Л. Н. Толстой всею своею натурою, всюю симпатию своего великого художественного чувства был направлен и устремлен к народу, и долгое и любовное созерцание народа открыло ему идеал, которым живет народ. Они не были знакомы друг с другом, но в последнее время оба все старались познакомиться».

⁶⁸ Там же. С. 69.

⁶⁹ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 321.

⁷⁰ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 603.

⁷¹ Там же. С. 616.

деле. Страхов больше уже не докучал Толстому такого рода просьбами, да и вообще редко и мало писал о работе над биографией. Правда, почти все письма за вторую половину 1882-го и первую 1883 года как Толстого, так и Страхова, очевидно, утрачены, но статья «Взгляд на текущую литературу», опубликованная 6 января 1883 года в газете И. С. Аксакова «Русь», свидетельствует, что мнение Страхова о Достоевском — художнике и человеке нисколько не изменилось к худшему, скорее, напротив.

Статья вторая

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ДОСТОЕВСКОГО. ПОПЫТКИ ИСПОВЕДИ

О совсем близком окончании работы над биографией Достоевского Страхов сообщает Толстому в середине августа 1883 года. И здесь впервые, пока еще в очень мягком и общем виде, прозвучали критические нотки: «Опять я оторвался от письма к Вам, но зато почти кончил свою „биографию“. Не ожидал я, что это так меня увлечет, и если первая половина будет скучна, то вторая, вероятно, прочтется с интересом. Какое странное явление этот человек! И отталкивающее, и привлекательное». ⁷² Неожиданный поворот, которого, кажется, испугался «биограф», отступивший в конце письма: «И простите меня. Я прибрал Достоевского, а сам, верно, хуже». Умирают сослуживцы и приятели, но никакого смятения в душе Страхова нет — большой труд близится к концу, и он им доволен, с мыслью о неизбежной и, возможно, скорой смерти смирился, уютно обустроился для новых литературных занятий: «Я купил новый стол, новую лампу, построил три новых шкапа для книг, и усердно сижу дома. Все готово, ничего больше не нужно; кажется, никогда я не был так счастлив, в таком ровном и ясном духе». ⁷³ Толстой, опечаленный смертью Тургенева и уставший от работы над статьей «В чем моя вера?», никаких чрезвычайностей от спокойного и счастливого Страхова не предвидел, а биографию Достоевского после туманно-загадочных слов корреспондента стал ждать с вполне оправданным нетерпением: «Жду вашу биографию. Хоть вы и браните ее, я знаю, что там будет много хорошего». ⁷⁴

Тем временем Страхов работу над биографией продолжил, столкнувшись, должно быть, с какими-то серьезными внутренними трудностями. О задержке 16 сентября пишет Толстому: «Началось печатание моих *Воспоминаний* о Достоевском. Я все еще в этой работе, но через месяц мечтаю быть совершенно свободным». ⁷⁵ Страхов тогда не предполагал, что и напечатав воспоминания, он никогда не освободится от них — будет все время тревожить тени прошлого, не желавшего становиться прошлым, будет каяться и обвинять, так и не обретя внутреннего спокойствия. Но пока лишь легкая рябь на ровной поверхности и размышления скептика и пессимиста Страхова о вечной театрализованной людской суете сует по поводу смерти и похорон Тургенева, на которого он «перестал...сердиться»: «Вы видите, бесценный Лев Николаевич, как жадно люди хватаются за имя, за гроб, за минуту опускания этого гроба в землю. Людям нужно нечто совершенно определенное и индивидуальное. Так им нужна церковь, алтарь, минута произнесения известных слов». ⁷⁶ И что-то гнетет Страхова, что-то уничтожившее недав-

⁷² Там же. С. 647.

⁷³ Там же.

⁷⁴ Там же. С. 649.

⁷⁵ Там же. С. 650.

⁷⁶ Там же.

нюю ясность и спокойствие духа, о чем он все еще не решается поведать Толстому: «Тупость и черствость, неподвижность умственная и сухость сердечная — вот что находит на меня, и то я бьюсь против этого, то опускаюсь, отдаюсь этому. Но Вам я верен и остаюсь верен, дорогой Лев Николаевич».⁷⁷

Естественно предположить, что разительная душевная перемена как-то связана с заключительной стадией работы над воспоминаниями о Достоевском, которому он перестает быть «верен» (да и был ли «верен» когда-либо в полном смысле?). Возникает потребность в исповеди, в уяснении причин и сути душевной смуты. Тогда-то и создается запись «Для себя» и вслед за ней кошмарное письмо Толстому от 28 ноября 1883 года (корреспонденция между ними, кстати, прерывается более чем на два месяца — и мы не располагаем прямыми или косвенными сведениями о каких-то пропавших в этот временной промежуток письмах) — акт не освобождения, а, пожалуй, отречения, один из самых больных и тягостных литературных документов XIX века. В записи сказано лаконично, без детализации: «Во все время, когда я писал воспоминания о Достоевском, я чувствовал приступы того отвращения, которое он часто возбуждал во мне и при жизни и по смерти; я должен был прогонять от себя это отвращение, побеждать его более добрыми чувствами, памятью его достоинств и той цели, для которой пишу. *Для себя* мне хочется однако формулировать ясно и точно это отвращение и стать выше его ясным сознанием».⁷⁸ Сознание, похоже, мало помогало, а добрые чувства улетучились бесследно. Страхов в письме текст «для себя» превращает в признание «для Толстого»; он давно уже его выбрал своим исповедником: «Все время писания я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство. Пособите мне найти от него выход».⁷⁹

В письме Страхова просто потрясают неистовая злоба, клокочущая ненависть и исключительная резкость определений ведущих черт характера Достоевского: «Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким, и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен <...> он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям и он хвалился ими <...> При животном сладострастии, у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести».⁸⁰ Ни одной доброй черты, ни одного искреннего душевного движения Страхов не обнаруживает в Достоевском, «истинно несчастном и дурном человеке», представляя его, так сказать, нравственным Квазимодо: «*Движение истинной доброты, искра настоящей сердечной теплоты*, даже одна минута настоящего раскаяния — может все загладить; и если бы я вспомнил что-нибудь подобное у Д(остоевского), я бы простил его и радовался бы на него. Но одно возведение себя в прекрасного человека, одна головная и литературная гуманность — Боже, как это противно!»⁸¹

Страхов упорно повторяет и ранее уже прозвучавшую мысль о том, что Достоевский любил только «одного себя». Утверждает — и это странно читать у автора блестящих и глубоких критических статей, — что в парадоксалисте повести «Записки из подполья», Свидригайлове и Ставрогине он изобразил самого себя, и даже что «все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости».⁸²

⁷⁷ Там же. С. 651.

⁷⁸ Лит. наследство. 1973. Т. 86. С. 564.

⁷⁹ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 652.

⁸⁰ Там же.

⁸¹ Там же. С. 653.

⁸² Там же. С. 652, 653.

Кое-какие из этих обвинительных заключений мелькают и в биографии, но именно мелькают, в другом контексте и другой тональности, необыкновенно далекой от обличительной. Страхов резко обозначает в биографии: «Достоевский — субъективнейший из романистов, почти всегда создававший лица по образу и подобию своему».⁸³ А далее идут уточнения, смягчения, биографические приемы, если не скрывающие, то, несомненно, затемняющие истину, превращающие правду в полуправду. Страхов в биографии гибко использует одно антропологическое свойство, о котором счел необходимым прямо сказать: «Но каждый человек имеет, как известно, не только недостатки своих достоинств, но иногда и достоинства своих недостатков». И вот уже субъективность, оказывается, имеет огромные преимущества, равно как и гуманность, названная в письме «головной»: «Эта нежная и высокая гуманность может быть названа его музой, и она-то давала ему мерило добра и зла, с которым он спускался в самые страшные душевные бездны. Он крепко верил в себя и в человека, и вот почему был так искренен, так легко принимал даже свою субъективность за вполне объективный реализм».⁸⁴ Многие страницы воспоминаний Страхова звучат иначе после знакомства с его письмами Толстому, отбрасывающими на них густую и зловещую тень.

Хотя сравнительно легко можно определить, что вызывало неприятие в личности и творчестве Достоевского у Страхова, что разделяло их, по воспоминаниям, письмам, другим литературным документам (особенно значительна введенная в научный оборот Л. М. Розенблум статья Страхова «Наблюдения»), все-таки остается необъяснимым (во всяком случае рационально) неожиданно возникший на самом последнем этапе работы над воспоминаниями этот всплеск ненависти, это низвержение в самое грязное болото «приятеля», которому только что была сочинена торжественная и прочувствованная осанна. Опровергать обвинения Страхова нет нужды — конкретные примеры или нелепы («глупенький случай с кельнером», по определению Анны Григорьевны), или являются низкой и злонамеренной сплетней, а обобщения опираются лишь на личный опыт общения с Достоевским, интерпретированный в самом мрачном свете — и Страхов не «истинного» Достоевского, а собственные душевные потемки проецирует на большой экран. Трудно определить, что послужило толчком и как протекал этот, видимо длительный, процесс отречения. Существует гипотеза, и она вполне закономерна, что поводом к столь резкой перемене настроения послужила одна пространная черновая запись Достоевского (приблизительно датированная концом 1876—началом 1877 года) о Страхове — литераторе и человеке, с которой тот мог ознакомиться в период работы над воспоминаниями.

В черновых записях к выпуску «Дневника писателя» за июль-август 1876 года часто мелькает имя Страхова в связи с предпочтением, отданным им английской женщине перед русской в запомнившейся как Толстому, так и Достоевскому статье критика «Женский вопрос». Записи — черновой набросок к главке (нечто среднее между очерком и фельетоном) «Один из облагодетельствованных современной женщиной», где человек «старого поколения» (двойник автора), коснувшись «щекотливой» женской темы, цитирует «брошюру» (говорится, что в ней «есть несколько прекраснейших и самых зрелых мыслей») Страхова, — одну фразу, совсем сбившую его «с толку»: «И однако же, всему свету известно, что такое англичанка. Это

⁸³ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 226.

⁸⁴ Там же. С. 226—227.

очень высокий тип женской красоты и женских душевных качеств, и с этим типом не могут равняться наши русские женщины...» (23, 88).⁸⁵ Легкомысленное мнение, всеконечно, страстно опровергается (явственно звучит один из мотивов будущей Пушкинской речи — указывается на «идеалы наших поэтов» — героинь Пушкина, Тургенева, Льва Толстого), предполагается даже, что «должен существовать такой естественный закон в народах и национальностях, по которому каждый мужчина должен по преимуществу искать и любить женщин в своем народе и в своей национальности» (23, 89). Имя автора брошюры не называется, но говорится, что он «холостой человек» — иронический укол и фельетонный прием: в сущности, имя автора секрет полишинеля.

Сюжет, казалось бы, исчерпан, мнение опровергнуто, русская женщина возведена на пьедестал. Однако гнев Достоевского только еще начал пробуждаться. Он перебирает в памяти другие высказывания и поступки Страхова, раздражавшие его черты личности критика. И вот уже набросан весьма нелестный портрет Страхова как литератора-семинариста.

Это памфлетный портрет, начертанный в резкой обличительной манере раздраженной рукой. «Пирог жизни наш критик очень любил и теперь служит в двух видных в литературном отношении местах, а в статьях своих говорил *обняком*, по поводу, кружил кругом, не касаясь сердцевины. Литературная карьера дала ему 4-х читателей, я думаю, не больше, и жадную славу. Он сидит на мягком, кушать любит индеек, и не своих, а за чужим столом. В старости и достигнув двух мест, эти литераторы, столь ничего не сделавшие, начинают вдруг мечтать о своей славе и потому становятся необычно обидчивыми и взыскательными. Это придает уже вполне дурацкий вид, и еще немного, они уже переделываются совсем в дураков — и так на всю жизнь. Главное в этом славолубии играют роль не столько литератора, сочинителя трех-четырех скученьких брошюрок и целого ряда обняковых критик по поводу, напечатанных где-то и когда-то, но и два казенные места. Смешно, но истина. Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь. Никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам делает гадости; не смотря на свой строго нравственный вид, тайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и всё, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему всё равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать. Я еще больше потом поговорю об этих литературных типах наших, их надо обличать и обнаруживать неустанно» (24, 240).

В портрете много несправедливого, карикатурного, преувеличенного.⁸⁶ Правда, Достоевский в письмах (и, разумеется, в разговорах) неоднократно отзывался с неудовольствием о стиле критических работ Страхова, но никогда

⁸⁵ Достоевский круто прерывает цитату, может быть не желая приводить особенно задевших его слов критика: «Что будет из русской женщины? Даст ли она миру новый образец красоты человеческой природы или же останется примером бесцветности и, пожалуй, какой-нибудь нравственной уродливости?»

⁸⁶ Так, Б. В. Никольский пишет об аскетизме и равнодушии Страхова к комфорту: «Комфорт, удовольствия и удобства жизни для него, можно сказать, не существовали; он заменял их только редкой чистотой, аккуратностью и порядком. В его дом вы входили как в келью какого-нибудь монастырского библиотекаря: портреты хозяина, подаренные ему на память художниками, портреты и бюсты двух, трех писателей, две-три картинки, дорогие, как воспоминания детства, и полки с книгами: вот вся его обстановка. Несколько стульев предназначалось для гостей; остальная мебель допускалась лишь как прибор для помещения книг» (*Никольский Б. В. Биография Н. Н. Страхова // Исторический вестник. 1896. № 4. С. 218—219.*)

не делал этого с такой резкостью. В письме к жене в феврале 1875 года Достоевский назвал Страхова «скверным семинаристом». Но ведь это в период самого сильного охлаждения отношений Достоевского со Страховым (и Майковым) из-за печатания романа «Подросток» в «Отечественных записках», в особую минуту вырвавшееся. «Происхождение» Страхова сомнения не вызывает, в семинарии он формировался как личность и как литератор, и «семинарские» черты, присущие ему, Достоевским не без основания отмечены, хотя и оценены отрицательно, что представляется предвзятой и односторонней точкой зрения (кстати, о «семинаризме» и сам Страхов иногда отзывался неодобрительно⁸⁷). К «семинаристам», как очевидно, Достоевский должен был отнести и многих представителей своего рода (в том числе деда по отцовской линии), а следовательно, отчасти и себя. Вне сомнения, однако, настороженное и скептическое отношение Достоевского к духовному сословию. Это сказалось и в эпиграмме на Лескова, и в ряде записей в его тетрадах, одна из которых находится в близком соседстве с приведенным ранее портретом Страхова: «Это была натура русского священника в полном смысле, то есть матерьяльная выгода на первом плане и за сим — уклончивость и осторожность» (24, 243).

Новая запись, безусловно, связана с размышлениями о Страхове в другой заметке, где речь идет о семинаристе, типизированном, и не только «литературном», и не только современном — проект будущей главки очередного выпуска «Дневника писателя»: «Семинарист, сын попа, составляющего *status in statu*, а теперь уж и отщепенца от общества, а казалось бы, надо напротив. Он обирает народ, платьем различается от других сословий, а проповедью давно уже не сообщается с ними. Сын его, семинарист (светский), от попа оторвался, а к другим сословиям не пристал, несмотря на всё желание. Он образован, но в своем университете (в Духовной академии). По образованию проеден самолюбием и естественною ненавистью к другим сословиям, которые хотел бы раздробить за то, что они не похожи на него. В жизни гражданской он многого внутренне, жизненно не понимает, потому что в жизни этой ни он, ни гнездо его не участвовали, оттого и жизнь гражданскую вообще понимает криво, лишь умственно, а главное отвлеченно. Сперанскому ничего не стоило проектировать создание у нас сословий, по примеру английского, лордов и буржуазии и проч. С уничтожением помещиков семинарист мигом у нас воцарился и наделал много вреда отвлеченным пониманием и толкованием вещей и текущего» (24, 241).

Можно сказать, обычный для Достоевского метод творчества — прослеживаются все стадии развития темы, кроме последней: очерк о семинаристе, как типе, не будет осуществлен, но и бесследно не исчезнет: пригодится при создании образа Ракитина в «Братьях Карамазовых». Страхов с такими приемами (он их называл фельетонными, «французскими») творчества Достоевского был хорошо знаком, но столь бесцеремонное и язвительное обращение с его персоной, вне сомнения, не могло самым болезненным образом

⁸⁷ В письме Толстому от 25 мая 1881 года Страхов, коротко пересказывая историю многолетней борьбы с нигилизмом, вспоминает и «семинарский дух»: «Петербургский люд с его складом ума и сердца и семинарский дух, подаривший нам Чернышевского, Антоновича, Добролюбова, Благосветлова, Елисеева и пр. — главных проповедников нигилизма, — все это я близко знаю, видел их развитие, следил за литературным движением, сам пускался на эту арену и пр. Тридцать шесть лет я ищу в этих людях, в этом обществе, в этом движении мыслей и литературы — ищу настоящей мысли, настоящего чувства, настоящего дела — и не нахожу, и мое отвращение все усиливается, и меня берет скорбь и ужас, когда вижу, что в эти тридцать шесть лет только это растет, только это действует, только это может надеяться на будущность, а все другое гложет и чахнет» (Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 606).

не задеть крайне самолюбивого и мнительного литератора. Вот тут и логично предположить причину вдруг наступившего перелома, побудившего Страхова взяться за перо и превратить заметки «для себя» в исповедь «для Толстого». Пусть, мол, потомки их рассудят. Нечто вроде мести Страхова глубоко оскорбившему его литературному «приятелю»; он понимал, что все рукописи Достоевского и переписка Льва Толстого рано или поздно будут напечатаны. Но так ли уж Страхов был в этом уверен: ведь и рукописи горят и письма бесследно пропадают (вот и значительная часть переписки Страхова и Толстого утрачена) или перлюстрируются и подчищаются вдовами (а то и предаются огню); если уж Страхов был так встревожен, он, пожалуй, принял бы более надежные меры — сделал бы, к примеру, копии некоторых материалов, сдал бы их в архив той библиотеки, где работал, написал новые воспоминания. Но он этого не сделал, доверив потаенное одному Толстому. К тому же мы не располагаем какими-либо доказательствами, что Страхов эти записи читал и даже что был знаком с записной тетрадью Достоевского 1876—1877 годов. Гипотеза еще не факт и вряд ли когда-нибудь станет фактом. Причины тут, похоже, сугубо внутренние и лежат глубоко.

Далеко не всегда тайное становится явным. Есть вечные тайны и загадки. Немало сказано о дружбе-вражде Достоевского и Страхова Б. И. Бурсовым, Л. М. Розенблум и другими. Кое-что тут удалось выяснить. Убедительно пишет о постоянных и фундаментальных разногласиях между коллегами-почвенниками Л. М. Розенблум в монографии «Творческие дневники Достоевского». И все-таки остается загадкой резкая перемена отношения к Достоевскому, так злобно и неудержимо выразившаяся в письмах Страхова Толстому. Эти письма удостоились самых резких эпитетов, на которые не скупилась опеломленная предательством «друга» семьи вдова писателя и историки литературы (не только исследователи биографии и творчества Достоевского). И вдову и всех почитателей творчества писателя нетрудно понять: они с порога отвергали наветы и «клевету». Это их законное право. Тем не менее многое в сложнейших, запутанных отношениях Достоевского и Страхова остается непонятным, нелогичным, загадочным.

Письму предшествовала наконец-то высланная биография, по поводу чего следовала и обычная просьба критика: «...прошу Вашего внимания и снисхождения — скажите, как Вы ее находите».⁸⁸ Письмо же — это и своеобразная исповедь воспоминателя и «маленький комментарий» к биографии, сильно озадачивший Толстого. Свое мнение о биографии Толстой откровенно высказать не мог, так как затруднительно было высказаться о книге, представляющей собой в лучшем случае полуправду; комментарий в самом неприглядном свете выставлял как главного героя книги, так и ее автора, признававшегося, что решил подобно всем пожертвовать правдой: «...много случаев рисуются мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо правдивее; но пусть эта правда погибнет, будем цеполять одною лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем!».⁸⁹

Что мог Толстой сказать о таких удивительных и больных признаниях «биографа» и «приятеля» Достоевского? Они противоречили всем основным принципам и убеждениям Толстого — художника, учителя, человека, главным божеством которого была Правда, считавшего, что ложь и умолчания особенно нетерпимы в литературе, о чем он, кстати, писал критику в январе 1877 года: «В жизни ложь гадка, но не уничтожает жизнь, она замазывает

⁸⁸ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 652.

⁸⁹ Там же. С. 653.

ее гадостью, но под ней все-таки правда жизни, потому что чего-нибудь всегда кому-нибудь хочется, от чего-нибудь больно или радостно, но в искусстве ложь уничтожает всю связь между явлениями, порошком все рассыпается».⁹⁰

Вот он и ограничился фразой: «Книгу вашу прочел». Мнение о Достоевском в основном не изменил; воспоминания Страхова лишь укрепили его: «Из книги вашей я в первый раз узнал всю меру его ума. Чрезвычайно умен и настоящий. И я все так же жалею, что не знал его». И высказал крайне неблагоприятное мнение о «маленьком комментарии» к биографии: «Письмо ваше очень грустно подействовало на меня, разочаровало меня».⁹¹ Довольно прямо сказано в глаза Страхову, что Толстой именно им разочарован, его состоянием души опечален. Терзания запутавшегося в своих чувствах биографа Толстой объяснил общим, к сожалению распространенным, предрассудком, требующим непременно и слепого поклонения. Вот и Страхов стал «жертвой ложного, фальшивого отношения» к Достоевскому, «преувеличения его значения и преувеличения по шаблону, возведения в пророка, святого — человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь борьба».⁹² Толстой не только объясняет причины литературного «двойничества» Страхова, но и полемизирует с содержанием его письма, брезгливо обходя примеры и подробности, не желая опускаться до уровня грязных сплетен. Но письмо на него все же повлияло, породив рассуждение о людях с «заминкой» и без «заминки». С «заминкой» Достоевский — хоть и «рысак», «да никуда на нем не уедешь, если еще не завезет в канаву». Так что, полагает Толстой, у Достоевского «весь ум и сердце пропали за ничто» и его «переживет» Тургенев — только потому, что без заминки. Сравнение остроумное, но несправедливое, навеяно письмом Страхова — позднее Толстой самым радикальным образом переменил свое представление о Достоевском.

Страхова разочаровал ответ Толстого: он ожидал гораздо более сильной и определенной реакции. Страхов высказал Толстому несогласие с его представлением о Достоевском, добавив своего рода надрывную и больную сентенцию, которая могла только покоробить Толстого: «Сказать ли, однако, прямо? И Ваше определение Достоевского, хотя многое мне прояснило, все-таки мягко для него. Как может совершиться в человеке переворот, когда ничто не может проникнуть в его душу дальше известной черты? Говорю — ничто — в точном смысле этого слова; так мне представляется эта душа. О, мы несчастные и жалкие создания! И одно спасение — отречься от своей души».⁹³ Сентенцию Толстой, видимо, не понял и не принял.

Молчание Толстого о биографии задело Страхова, и он предпринял робкую и непоследовательную попытку самооправдания: «В своих *Воспоминаниях* я все налегал на литературную сторону дела, хотел написать страничку из *Истории литературы*; но не мог вполне победить своего равнодушия. Лично о Достоевском я старался только выставить его достоинства; но качества, которых у него не было, я ему не приписывал. Мой рассказ о литературных делах, вероятно, мало Вас занял?»⁹⁴ Объяснения-оправдания плохо согласуются со словами в биографии о Достоевском — человеке, достойном умиления, «наружные мелочи» и «слабости» которого «почти вовсе не име-

⁹⁰ Там же. Т. 1. С. 306.

⁹¹ Там же. Т. 2. С. 655.

⁹² Там же.

⁹³ Там же. С. 660.

⁹⁴ Там же.

ли влияния на его поступки, на его образ чувств и действий, всегда сохранявший благородство и высоту. Он был строг к себе и даже щепетилен; его великодушные не могло помириться не только с темным или недобрым поступком, но и с темным или недобрым чувством. Он трудился и жил, постоянно воспитывая в себе наилучшие чувства и действуя не только безукоризненно и бескорыстно, а часто самоотверженно».⁹⁵ Противоречат запоздалые примечания и обещаниям, данным Страховым во вступлении к «Воспоминаниям»: «Постараюсь... со всею искренностью и точностью указать его личные свойства и отношения, какие мне довелось узнать».⁹⁶ Толстому противоречия запутавшегося в чувствах и мыслях автора были видны как на ладони.

По-видимому, Толстой обладал ключами и к внутренней жизни Страхова, который постоянно и эмоционально исповедовался перед ним, обнажая язвы души с максимальной для такого закрытого человека откровенностью. Началось это давно, еще на ранней стадии переписки; перед отъездом Страхова в Италию весной 1875 года Толстой осторожно попытался заглянуть в душу человека, общение с которым (не только эпистолярное) стало для него уже необходимостью: «Очень, очень хотелось бы повидать вас. Вы думаете, что я о себе одном думаю. Напрасно. Я чувствую людей, которых я люблю, и я чувствую вас и знаю, что в вас в эти два (кажется) года, в которые мы с вами не видались и в которые вы ничего не печатали (кажется), многое выросло внутри, и я догадываюсь, но мне хочется подробно узнать, ощупать, что и куда?»⁹⁷

В ответном письме из Рима Страхов признался, что «не был откровенен, говоря о самом себе», «скрывался» от Толстого. И немного приоткрыл причину такой скрытности: «Скажу прямо — мне было *стыдно* открывать Вам то уныние, тот упадок духа, которые овладевают мною.

Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан!

Может быть, я переживу этот период и обновится *моя юность яко орля*, но теперь я не вижу выхода. Вот два года, как я ищу дела и не нахожу его. Все меня слабо интересует, все не дорастает до огня, который бы согрел всю душу. На эту тему я мог бы писать без конца, но мне это стыдно, — да притом это совершенно бесполезно и никому не интересно. В конце письма Вы высказываете очень хорошее пожелание: *будьте сильны*, Вы пишете. Да, именно этого мне следует пожелать».⁹⁸

Полупризнания переживавшего кризис Страхова только раззадорили Толстого. Он посылает ему «коротенькое», но насыщенное образными определениями и советами письмо, которое критик выучит наизусть и будет через большой промежуток времени вспоминать как самое важное и животрепещущее послание. Толстой вновь, но гораздо отчетливее выразил сокровенное желание заглянуть в душу Страхова, в его внутренние «апартаменты»: «Немножко мне открылось ваше душевное состояние, но тем более мне хочется в него проникнуть дальше. И желание мое законно: оно не зиждется на умственном интересе, а на сердечном влечении к вам. Бывают души, у которых одни двери — прямо в жилые комнаты. Бывают большие двери, маленькие, настезь и запертые; но бывают с сенями и с подвальными и па-

⁹⁵ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 318.

⁹⁶ Там же. С. 169.

⁹⁷ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 1. С. 205.

⁹⁸ Там же. С. 207.

радными лестницами и коридорами. У вас сложные коридоры; но апартаменты хорошие — и, главное, я их люблю. — И всегда я желал проникнуть в них».⁹⁹

Далее Толстой, вспоминая беседы со Страховым, стремится опровергнуть его веру в объективность, стремление всегда и во всем быть объективным, хладнокровным, застегнутым на все пуговицы: «Вы всегда говорите, думаете, пишете об общем — объективны. И все мы это делаем, но ведь это только обман, законный обман, обман приличия, но обман, вроде одежды. Объективность есть приличие, необходимое для масс, как и одежда. Венера Милосская может ходить голая, и Пушкин прямо может говорить о своем личном впечатлении. Но если Венера пойдет голая и старуха-кухарка тоже, будет гадко. Поэтому решили, что лучше и Венере одеться. Она не потеряет, а кухарка будет менее безобразна. Этот компромисс мне кажется и в умственных произведениях. И крайности, уродства, surcharge одежды часто вредит; а мы привыкли. И вы слишком одеваетесь объективностью и этим портите себя, для меня по крайней мере. Какие критики, суждения, классификации могут сравниться с горячим, страстным исканием смысла своей жизни?»¹⁰⁰

Письмо Толстого задело и взволновало Страхова. Более двадцати лет он будет в беседах и разговорах отвечать Толстому, то полемизируя с ним, то пытаясь попасть в сердечно-исповедальный тон или, говоря иначе, «раздеться». К сожалению, самые первые ответные письма Страхова, очевидно, утрачены, в том числе и «прекрасные четыре письма», где он пишет «про себя», которые Толстой «перечитал по нескольку раз». Но отвечать на какие-то личные признания не стал, отклонив мнение о том, что он живет *полной жизнью*, будто бы ясной в отличие от унылого и безутешного существования Страхова: «Не думайте этого. Вы многое, мне кажется, относите к своей личности из того, что есть свойство всех людей и, простите за гордость, лучших людей».¹⁰¹

Скорее всего, Страхов не очень «открылся» в этих письмах. Продолжая разговор о себе в ноябре 1875 года, он по-прежнему славословит Толстого и, в сущности, мало и чересчур «объективно» пишет о себе: «Ваш пример и Ваши письма сильно возбуждают меня. Разница здесь между нами та, что Вы воодушевлены, работаете мыслью и сердцем, чтобы добыть решение или пояснение высших вопросов, я же, как будто усталый или бессильный, только вечно смотрю на эти вопросы, только беспрестанно обращаюсь к ним своею мыслью, почти не ожидая разрешения. Но это действительно так. Мысль о смерти есть самая обыкновенная моя мысль, так что я уже перестал ее поворачивать и рассматривать. Меня уже просто занимает то, что Вы назвали (письмо во Флоренцию) *смыслом жизни*. Я прислушиваюсь, вглядываюсь, но не *стремлюсь*, как Вы, не *борюсь* с задачей. — Я ей верен, но что же больше делать, если чувствуешь слабость сил?»¹⁰²

Страхов деликатно отклонил советы, предпочтя роль стоящего в стороне «объективного» созерцателя, прислонившегося к Толстому, — в последнем он видит «благодушнейшего христианского монаха, у которого прощения и снисхождения столько же, сколько и самых высоких и строгих требований».¹⁰³ Сам же в борьбе и жизнестроительстве участвовать не хочет, да и не в силах, фаталистически принимает настоящее: «Мне нужно научиться не

⁹⁹ Там же. С. 211.

¹⁰⁰ Там же.

¹⁰¹ Там же. С. 213.

¹⁰² Там же. С. 223.

¹⁰³ Там же. С. 227.

делать свою жизнь, а как-нибудь принимать ту, которая мне дается. Я должен покориться неведомому мне творчеству».¹⁰⁴

А жизнь тем временем шла своим чередом, кружила «кутерьма», грустная, нелепая, смешная. Вот ищет у него утешения старинный приятель, которому изменила жена, помышляющий одновременно о разводе, новой жене и сыне-наследнике: «Какая жажда жизни! Ему даже нужен наследник! О, мы какие-то сумасшедшие, угорелые! Мы делаем сами не знаем что, сами не знаем зачем».¹⁰⁵ Рассказывает Страхов Толстому о бездетных супругах, взявших на воспитание четырехлетнюю девочку, оказавшуюся капризной и глуповатой «от природы». Девочку избаловали, «до невозможности обкормили» так, что она заболела. Пошли ссоры, консилиумы, доктора, полный разлад между супругами, вынуждены были однажды пригласить мать девочки и убедились, что «никакого материнского чувства в ней нет». Утомительный, унылый круговорот жизни: «Все эти интересы и страдания мне кажутся до очевидности нелепыми. Не потому ли, что сердце у меня сухо, что я холостяк и не женат? Но я не могу найти в них смысла. Жизнь всеильный обман, от которого не могут освободить самые очевидные доказательства».¹⁰⁶

В письме к Толстому об «Анне Карениной», этом «новом великом произведении», Страхов восторгается анатомией петербургской светской жизни («Это удивительно и хватает за сердце; такая бездна лжи, такая мелкость умов и сердец») и рассказывает «недавний анекдот» о графине Зубовой: «Дом Зубовых — неслышанного и поразительного великолепия стоит на площади против Исаакиевского собора. Графиня с бала уехала в бани со своим поваром, французом. Там он умер на ней от разрыва аневризма. Она перепугалась, позвала на помощь; полиция захватила ее по поводу скоропостижной смерти. Муж, не дождавшийся возвращения жены, бросился к обер-полицеймейстеру рано утром — и там дело объяснилось». Это анекдот «из достоверных источников». Другие анекдоты — из менее достоверных, рассказанные Владимиром Ивановичем Ламанским («подобные и худшие»), слова которого тут же приводятся: «Он говорит: „Разве Каренин похож на Валуева? Валуев не так сделал; он продал свою жену и старый Вяземский не хотел за это знать его”».¹⁰⁷

Грязная и гнусная кутерьма «грубой, глупой, легкомысленной жизни».¹⁰⁸ Страхов от нее старательно дистанцируется, но скандальные «анекдоты», нередко из весьма недостоверных источников, коллекционирует и не без удовольствия передает («анекдоты» о Достоевском такого же рода).

Весной 1878 года во взаимоотношениях Толстого и Страхова чуть не наступил кризис. Толстой в письме от 8 апреля, наставляя на истинный путь Страхова, допустил неосторожные выражения, сильно огорчившие критика. Толстой попытался в несколько догматичной манере объяснить Страхову, почему тот не видит «настоящей дороги»: «Когда я думаю о вас, взвешиваю вас по вашим писаньям и разговорам, я по известному мне вашему направлению и скорости и силе всегда предполагаю, что вы уже очень далеко ушли туда, куда вы идете; но почти всегда при свидании с вами и по письмам (некоторым) к удивлению нахожу вас на том же месте. Тут есть какая-нибудь ошибка. И я жду и надеюсь, что вы исправите ее и я потеряю вас из вида, — так далеко вы уйдете. С другой стороны то же самое: в молодости

¹⁰⁴ Там же. С. 228.

¹⁰⁵ Там же. С. 252.

¹⁰⁶ Там же.

¹⁰⁷ Там же. С. 332.

¹⁰⁸ Там же.

мы видим людей, притворяющихся, что они *знают*. И мы начинаем притворяться, что мы знаем, и как будто находимся в согласии с людьми и не замечаем того большего и большего несогласия с самими собою, которое при этом испытываем. Приходит время (и оно для вас уже пришло с тех пор, как я вас зазнал), что дороже всего согласие с самим собою. Ежели вы установите, откинув смело всё людское притворство знания, из которого злейшее — наука, это согласие с самим собой, вы будете знать дорогу. И я удивляюсь, что вы можете не знать ее». ¹⁰⁹

Страхов уязвлен в самое сердце, самолюбие его задето так глубоко, что он обращается к Толстому с просьбой разъяснить мысль, показавшуюся ему оскорбительной, нисколько при этом не желая красоваться или оправдываться, признавая слабые стороны своей натуры: «...я ничего Вам не принес и ни в чем Вам не пособил; я все тот же колеблющийся, отрицательный, неспособный к твердой вере и сильному увлечению какою-нибудь мыслью. Да, таков я. С недоумением перебираю я всякие взгляды людей, древние и новые, с упорным вниманием ищу, на чем бы можно остановиться, и ничего не нахожу. Я мог бы наказать о себе много и очень печальных вещей; мысли мои о себе — самые горькие. Но все-таки я не могу понять Вашего упрека в каком-то *притворстве* и в *несогласии* с самим собою. Так как дело идет о моей драгоценной особе, то оно очень меня, очень заинтересовало, и я прошу Вас, как большого должника, объяснить мне Вашу мысль. Не бойтесь меня уколоть. Вы же видите какой-то выход, тогда как я выхода не вижу». ¹¹⁰

Толстой в тщательно продуманном ответном письме признал, что «неясно и резко выразился», сожалея, что невольно огорчил Страхова, столь ему дорогого человека (и он не скупится на комплименты и выражения сердечных чувств): «Нет человека, которого [бы] я больше уважал, чем вас, и которому бы желал быть более приятным, и вдруг я огорчил вас»; «Вся моя вина в том, что я слишком люблю ваш ум, вашу душу, жду от нее слишком много и слишком поспешно решил причину, по которой вы не удовлетворяете моим требованиям от вас». ¹¹¹

Но от мысли — пусть и выраженной неясно, резко и немного косноязычно — не отказывается. Пытается пояснить ее и, почувствовав исповедальную наклонность, выразившуюся в последнем письме, призывает критика к откровенности, к правдивому «субъективному» рассказу о своей духовной жизни или, говоря иначе, к исповеди: «...перебирание чужих взглядов и искание в них я называю (неточно) притворством знания, т. е. я хочу сказать, что, подделываясь под чужие взгляды, притворяешься, что знаешь, и лишаешься согласия с самим собою. Вы прожили 2/3 жизни. Чем вы руководились, почему знали, что хорошо, что дурно. Ну вот это-то, не спрашивая о том, как и что говорили другие, скажите сами себе и скажите нам». ¹¹²

По сути, еще одно, самым ясным образом сформулированное приглашение к исповеди, которая на этот раз тут же и последовала в ответном письме от 25 апреля. Сжатая, почти целиком состоящая из горестных обобщенных суждений итогового характера, в которых бесследно растворились конкретные эпизоды или «опыты» жизни: «Конечно, главный мой недостаток — отсутствие самостоятельности, а главное несчастье в том, что ища постоянно, чему бы подчиниться, я не умею ничего найти и потому думаю, что нынче

¹⁰⁹ Там же. С. 423.

¹¹⁰ Там же. С. 428.

¹¹¹ Там же. С. 429, 430.

¹¹² Там же. С. 429.

нет вовсе на свете таких властей, которые имеют право на подчинение себе душ человеческих. Вы спрашиваете меня: как же я прожил до сих пор? А вот как: я никогда не жил как следует. В эпоху наибольшего развития сил (1857—1867) я не то что жил, а поддался жизни, подчинился искушениям; но я так измучился, что потом навсегда отказался от жизни. Что же я *делал*, собственно, и тогда, и потом, и что делаю теперь? То, что делают люди отжившие, старики. Я *берегся*, я старался ничего не искать, а только избежать тех зол, которые со всех сторон окружают человека. И особенно я берегся нравственно — совесть у меня слабая, беспокойная; сделать подлость или несправедливость для меня несложно.

А затем я служил, работал, писал, все лишь настолько, чтобы не зависеть от других, чтобы не было стыдно перед товарищами и знакомыми. Во время литераторства я помню, как я сейчас же останавливался, как только видел, что денег наработано довольно. Составить себе положение, имущество — я никогда об этом не заботился.

Так что все время я не жил, а только *принимал* жизнь, как она приходила, старался с наименьшими издержками сил удовлетворить ее требованиям и, сколько можно, уйти от ее невзгод и неудобств. За это, как Вы знаете, я и наказан вполне. У меня нет ни семьи, ни имущества, ни положения, ни кружка — ничего нет, никаких связей, которые бы соединяли меня с жизнью. И сверх того, или, пожалуй, вследствие того, я не знаю, что мне думать.

Вот Вам моя исповедь, которую я мог бы сделать несравненно более горькою».¹¹³

Еще, пожалуй, не исповедь, а, скорее, ее план, предварительный очерк, за которым последуют и другие очерки в разной тональности, — проблема нужного тона всегда волновала Страхова, и более всего, когда он касался внутренних сторон жизни, допускал читателя или собеседника в душу. В мае 1878 года он посылает Толстому поэтическое приложение к этому сжатому рассказу о себе, — вариации на темы стихотворения Тютчева «День и ночь»: «...я все забываю, что мое горе такое, которое нужно перенести, никогда никому не говоря. Жизнь положительно имеет две стороны.

На мир таинственных духов,
Над этой бездной безымянной
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.

Нужно жить на этом покрове; заглядывать в бездну бесполезно, ни к чему не ведет, кроме страха. Жизнь на покрове, дневная жизнь, царство Логоса, Христа (как толковал Соловьев на лекциях) есть та же настоящая жизнь. Тут и благородство души, и красота, и подвиг, и всякая радость и всякое человеческое достоинство. Несмотря на то, что покров полупрозрачен и через него везде больше или меньше синее бездна, мы по годам можем жить, не думая о бездне, не чувствуя ее присутствия. Так этому и следует быть. Я все пытался показать Вам, как в моей душе зияет часто эта бездна. К чему это? Никакого добра от этого быть не может». И, почувствовав, что увлекся, прибавил: «Ну, простите, я больше не буду».¹¹⁴

Толстого все эти поэтические параллели мало тронули. Может быть, даже раздосадовали. В ссылках на «бездну» он увидел желание обойти суть прямо поставленных им перед Страховым вопросов, которые Толстой с при-

¹¹³ Там же. С. 432—433.

¹¹⁴ Там же. С. 436.

сущими ему настойчивостью, бесстрашной нацеленностью на достижение правды (как бы ни была правда неприглядна) повторяет в ответе с еще большей резкостью, императивностью: «И та бездна, о которой вы говорите, есть не что иное, как привычка притворяться, себя обманывать (...) Вы, говоря о бездне, как будто признаете, что вы ничего не знаете. Ничего не знать нельзя. Утверждать живому человеку и умственно здоровому, что я ничего не знаю, то же, что утверждать, что я никогда ничего не ем или что кровь во мне не обращается. — Мне кажется, что каждый человек должен разобраться, чем он знает и что он знает (а что он знает, это уже включено в понятие человека).

Теперь мне представляется другой вопрос: каким образом такой твердый и ясный ум, как ваш, может этого не видеть? И я отвечаю себе, что это происходит оттого, что вы всю свою жизнь, 40 лет, провели в том, чтобы приобретать знания разумным путем, и вам кажется, что всё, что не лежит на этом пути, не есть знание.

Я пристаю к вам с нелегким — дайте мне ясный ответ, откуда вы знаете то, чем вы живете, чем руководились и руководитесь в жизни». И с досадой на упорствующего Страхова, все время уходящего в сторону от прямых ответов, бросает: «Если я вам наскучил, не отвечайте».¹¹⁵

Страхов, заподозрив не без основания раздражение Льва Николаевича, поспешил ответить, чтобы «уничтожить» недовольство, в очередной раз ловко увернувшись от вопросов-капканов: «Вы спрашиваете, чем я живу? Но, во-первых, я могу сказать, что я вовсе не живу. У меня осталось самолюбие, которое постоянно побуждает меня служить, одеваться, беречь деньги и т. д., все для того, чтобы мне не было стыдно и чтобы быть не хуже других, вести себя по-людски. Потом, я выгадываю сколько можно досуга, читаю и все думаю о великой загадке; Вы знаете, что я постоянно занят вопросом о религии. Что из этого будет, не знаю; вероятно, доведется умереть в том же грустном раздумье. А может быть, перед смертью поглупею и отупею — и пропадет для меня мой великий интерес. Но, пока дело идет как теперь, я довольно спокоен; отчасти мое самолюбие удовлетворено, но главное, поверьте, в том, что я сознаю свою добросовестность, свои искренние усилия, свое религиозное отношение к предмету. И пусть будет, что будет; это уже не моя вина, и я тут не отвечаю, потому что не властен.

Для Вас, для Вашей энергической природы, такое спокойствие и раздумье досадно, непонятно; Вы даже доказываете, что оно невозможно, так как при нем *жить нельзя* — я и не живу».¹¹⁶

Страхов оказался крепким орешком, и Толстой со своими трудными вопросами отступил (разумеется, временно).

Страхов стремится найти какой-то средний путь, нечто промежуточное между биографией и исповедью. В августе 1878 года он пишет Толстому о том, что все больше укрепляется «в мысли написать что-нибудь по Вашему вызову; своей биографии я никак не стану писать, но мне хочется поговорить о себе и как-нибудь обобщить вопрос. Напишу *Вместо исповеди* и расскажу Вам. Боюсь только, что разыграются дурные чувства, которых так много возбуждает в нас наше милое Я».¹¹⁷ «Вместо исповеди» — это компромисс, полуправда, уклончивый ответ на вызов Толстого.

К «трудным» личным сюжетам обратится Страхов и в письме от 14 сентября 1878 года, в котором он сначала рассуждает о «всегдашней и великой

¹¹⁵ Там же. С. 439.

¹¹⁶ Там же. С. 441.

¹¹⁷ Там же. С. 458.

нежности» к Толстому, о благодарности всем Толстым — о том, что является «отрадой» его жизни. А затем переходит к мыслям о содержании своей жизни, как всегда, печальным, цитируя самое любимое Толстым стихотворение Пушкина: «А какую цену, какое значение имеет *моя жизнь*? Этот вопрос я часто задавал себе, и чувствовал, что, так как я ей даю очень малое значение, то и выражения, подобные предыдущему, теряют свою силу. Я, *моя жизнь, мое счастье* — вот для всякого человека последняя точка опоры, мерило всего остального, цветное, вкусовое начало. Представьте, что у меня это начало очень слабо, и потому не только я не способен к деятельности, борьбе, *se faire valoir* и т. п., но и не могу видеть в своей жизни ничего важного.

Мне трудно говорить об этом предмете, и вот почему я не могу писать автобиографии. Каким тоном ее писать? Кажется, я бы всего сильнее выразил чувство *отвращения*.

И с отвращением читая жизнь свою,
Я трепещу и проклиная».

Затем Страхов сравнивает себя с Достоевским (и с А. Майковым), что пока еще выглядит невинно, но позднее выльется в злобный шарж, отказ от только что им завершенной биографии Достоевского. Здесь это, правда, всего лишь отдаленное ворчание грома, просто размышление о контрасте натур: «Я не люблю жизни так, как ее любит Майков, и я не люблю самого себя так, как Достоевский; как же я стану писать? Я стараюсь уйти от себя и от жизни; как же я стану с этим возиться? Рассказывать просто, не судя, с тем, чтобы другие судили, я не хочу и не могу; я непременно буду и хочу сам судить, и мне недостает для этого спокойствия. Всего охотнее я бы стал ругать самого себя, как я внутренне это делаю. Но для Вас я готов бы это написать, а для других — не вижу цели, нахожу скорее вредным, чем полезным». И отодвигает «пока» этот «трудный предмет» в сторону.¹¹⁸

Страхов колеблется, не решаясь быть откровенным с Толстым, дорожа его расположением: «...на меня все еще иногда нападает страх, что Вы меня, гадкого, как-нибудь разлюбите».¹¹⁹ Да и на вопросы, ясно и неумолимо поставленные Толстым, он не знает как ответить — они неизбежно рожают другие, препятствуя правдивому рассказу о душевном состоянии, как следует из «отчета» о проделанной работе 24 октября 1878 года: «Спрашивается, чем же я живу? Чего от себя добиваюсь и в чем полагаю то хорошее, без стремления к которому мне было бы стыдно жить? Мне представляется, можно написать любопытный этюд, только очень грустный. Да, вот причина, почему мне трудно писать воспоминания: нужно держать известный тон, а я не найду настоящего. Душа у меня так расшатана, что я мог бы написать в торжественном, в светлом, в комическом, в отчаянном — но в простом не сумею».¹²⁰ Толстой не ждал от Страхова ни торжественного, ни комического, ни отчаянного. Он хотел простоты, ясности, правды — вершин, достичь которых Страхов никак не мог. Только начнет восхождение — и срывается.

О своей внутренней жизни Страхов пишет, как правило, скупо и «объективно». Немного неожиданно он вдруг (через год) в октябре 1879 года вновь заговорил о намерении написать (не для всех, а для Толстого) свою автобиографию-исповедь: «Перед Вами я всегда как перед исповедником чист

¹¹⁸ Там же. С. 463.

¹¹⁹ Там же. С. 467.

¹²⁰ Там же. С. 473.

в своих намерениях и помыслах. Несколько раз мне приходило в голову изложить Вам свое духовное настроение и хоть в общих чертах свою историю. Но это требует большого труда, и мне слишком больно за него достается».¹²¹

Толстой, разумеется, замысел Страхова тут же поддержал: «Напишите свою жизнь; я всё хочу то же сделать. Но только надо поставить — возбудить к своей жизни отвращение всех читателей».¹²²

На этот раз Страхов решился смелее последовать совету Толстого, даже — не без успеха — постарался, чтобы его признания вызвали «отвращение». Начал он эту свою во многих отношениях поразительную исповедь словами молитвы, которую «часто вспоминал в последние двадцать или тридцать лет, когда случалось... мучиться совестью», и вспомнил теперь, «задумавши писать о своей жизни»: «*Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей*».¹²³ Молитва хороша, но от мучительных и постоянных сомнений и колебаний и она не спасает; трудно совладать с собой, трудно «добиться правды», не обманывая себя и других: «О жизни своей мне судить очень трудно, не только о ближайших, но и о самых далеких событиях. Иногда жизнь моя представляется мне пошлою, иногда героической, иногда трогательною, иногда отвратительною, иногда несчастною до отчаяния, иногда радостною. И я не знаю на чем остановиться, знаю, что каждый раз преувеличиваю, и наконец перестаю верить себе».¹²⁴

Двойничество Страхов считает доминирующей чертой своей душевной жизни, в которой гипертрофированная роль принадлежит прихотливой игре воображения: «Я ничего не чувствую просто и прямо, а все у меня двоятся. В моей голове идет постоянно игра мыслей, действующая на меня часто сильнее действительности (...) В сущности я не боязлив, не суверен, не мнителен; но представление боязни, суеверия, мнительности может так во мне разыграться, то если я сам себя вообразу таким боязливым, суеверным и мнительным, что замучу себя этим воображением больше, чем если бы действительно имел эти недостатки (...) настоящая душевная жизнь во мне очень слаба, а жизнь представлений чересчур сильна и подвижна».¹²⁵

В счастливые минуты Страхов воображал себя «любимым, уважаемым» и соответственно такому душевному настроению и в других видел «черты трогательные и восхитительные», пылал «любовью к людям, к истине», впал «в смирение, в умиление». С годами, что естественно, пылать стал реже. Гораздо памятнее ему были другие, тягостные и гадкие, больные мгновения, о которых Страхов без малейшей утайки рассказывает Толстому: «Но истинно противны другие минуты, когда я вижу тяжелое оскорбление в самом невинном слове и звуке и когда сам навожу на себя чувства гадкие, все те чувства, которых боюсь и которые испытываю именно оттого, что их боюсь; страх перед ними нагоняет их на меня. Порывы ненависти, глубочайшего эгоизма и малодушия иногда являются в моей душе, и хотя я им не верю и гоню их, я огорчаюсь до отчаяния уже тем, что мне знакомы эти отвратительные явления, что так или иначе моя душа породила их».¹²⁶

Такому мучительному состоянию души, таким жгучим и болезненным представлениям Страхов придумал и особое название: «*спускаться в ад*» («и, право, иногда это название не кажется мне сильным»). Страхов необык-

¹²¹ Там же. Т. 2. С. 538.

¹²² Там же. С. 540.

¹²³ Там же. С. 541.

¹²⁴ Там же.

¹²⁵ Там же.

¹²⁶ Там же. С. 542.

новенно рельефно и образно описывает эти «печальные» чувства: «Ревность, чувство своего ничтожества, раскаяние в своем разврате, стыд от всего стыдного и, кажется, всего больше *стыд стыда*, стыд того унижения, которое чувствуется в стыде, — все это я испил до капли, все это я раздувал в огромные муки и носился с ними по годам».¹²⁷

Страхов беспощаден к себе, вынося свою душу на суд Толстого, которого он, как и многие другие современники (в том числе «коварный» Лесков), сильно идеализировал. «Думаю, что я не какой-нибудь гадкий или преступный, или отчаянно-грешный человек. Я в известном отношении хуже — я человек безжизненный, в котором мало души, нет воли в смысле живых стремлений. Я во всех сферах неудавшийся, ни в чем не сформировавшийся, ни в какую форму не отлившийся человек, потому что во мне не было настолько формирующей силы, притяжения к жизни. Ни один инстинкт не говорил во мне так сильно, чтобы определить мои поступки и образ жизни. Я правильно сделал, отказавшись наконец вовсе от жизни; я не умею жить и не хочу за это братья». Коснулся Страхов, не слишком погружаясь в подробности, и «женского вопроса» в сугубо приватном смысле: «Я ни за одною не волочился в настоящем смысле пристрастия и никогда не собирался жениться. Две мои связи произошли оттого, что того хотели эти женщины, а не я. Это стыдно сказать мужчине, и я за это наказан больше, чем стою».¹²⁸

Вот в каком «хаотическом и печальном свете», изо всех сил стараясь быть правдивым, представил Страхов свою «внутреннюю» биографию Толстому, сильно удивив того отчаянным «спуском в ад». Он пишет пространственный ответ, но не посылает его. Толстой так поступал часто, хорошо зная, что неосторожное, неловкое слово может больно ранить и нанести непоправимый ущерб отношениям. Неотправленные письма потому-то и важнее посланных: они откровеннее, острее, содержательнее, свободны от дипломатических приправ. И в неотправленном письме к Страхову Толстой без обиняков высказал свои чувства: «Вы пишете мне, как бы вызывая меня. Да я и знаю, что вы дорожите моим мнением, как я вашим, и потому скажу всё, что думаю (...) Чужое виднее. И мне вы ясны. Письмо ваше очень огорчило меня. Я много перечувствовал и передумал о нем. По-моему, вы больны духовно».¹²⁹ А потом Толстой дает превосходное определение болезни, весьма распространенной, но протекающей с характерными индивидуальными отличиями у разных людей: «И ваша болезнь вот какая. В нас две природы — духовная и плотская. Есть люди, живущие одной плотью и не понимающие того, как можно центр тяжести свой переносить в духовную жизнь. Я называю переносить центр тяжести в духовную жизнь то, чтобы вся деятельность руководилась духовными целями. Есть люди счастливые — наш народ, буддисты, помните, о которых вы говорили, которые до 50 лет живут полной плотской жизнью и потом вдруг переступают на другую ногу, духовную, и стоят на ней. Есть еще более счастливые, для которых творить волю Отца есть истинный хлеб и истинное питье и которые смолоду стали на эту ногу духовную. Но есть такие несчастные, как мы с вами, у которых центр тяжести в середине и они разучились ходить и стоять. Всё в том мире, в котором мы жили, так перепутано — всё плотское так одето в духовный наряд, всё духовное так облеплено плотским, что трудно разобрать. Я хуже вас и потому счастливее в этом горе. Во мне плотские страсти были сильны и мне легче раскочнуться и разобрать, где то, где другое, но вы совсем спутаны.

¹²⁷ Там же.

¹²⁸ Там же. С. 543.

¹²⁹ Там же. С. 545.

Вы хотите добра, а жалеете, что в вас мало зла, что в вас нет страстей. Вы хотите истины, а жалеете и как будто завидуете, что у вас нет ничего хищного. Да что же хорошо, что дурно? Вы очевидно не знаете так, чтобы не бояться ошибиться, делая добро».¹³⁰

Толстого глубоко разочаровала исповедь Страхова, его застарелая духовная болезнь, поразительная спутанность всех чувств и понятий (примечательно и то, что многие черты характера, столь выпукло очерченные в ней, перекликаются с «семинаристскими» чертами в ироническом и памфлетном портрете критика, в раздраженном настроении набросанном Достоевским). Теперь Толстой уже не только не уговаривает Страхова написать биографию, а самым решительным образом отговаривает от этого: «И вам писать свою жизнь нельзя. Вы не знаете, что хорошо, что дурно было в ней. А надо знать. Если вы умели ходить прежде когда-нибудь в детстве, если другие ходят, то вы должны ходить, а если не ходите, то вы пьяны, больны, надо отрезвиться, лечиться. По тому пути, по которому вы идете, вы ни к чему не можете прийти, кроме как к отчаянию, стало быть, дорога не та и надо вернуться назад».¹³¹

Содержит письмо и духовное наставление, — пастырское, учительское, как будто с Синая провозглашаемое: «Верьте, перенесите центр тяжести в мир духовный, все цели вашей жизни, все желания ваши выходили бы из него, и тогда вы найдете покой в жизни. Делайте дела Божии, исполняйте волю Отца, и тогда вы увидите свет и поймете.

Признак истины не в разуме, а в истинности истины всей жизни. Переносите усиленно, сознательно свою жизнь на духовную, одну духовную сторону, и вы найдете покой душам вашим, и бремя пресыщения и перегрузка свалится с вас, и вам станет легко».¹³²

Покончив с поучениями и наставлениями, Толстой с неудовольствием оглянулся на написанное: слишком уж наставительно, да и тон какой-то назидательный, позволяющий предположить, что он обладает высшей истиной и не ведает сомнений. Однако он не мог чувствовать в этом не только некоторой неловкости, но и фальши. Толстой решает не посылать это письмо. Сомневается и в том, что напечатает и то большое религиозно-философское сочинение исповедального характера, над которым тогда мучительно работал: «Должно быть, не пошло это. Я очень занят работой для себя, которой никогда не напечатая».¹³³

Откликнулся на признания Страхова Толстой коротким и мягким, душевным ответом, сняв почти все наставления, радикально переменив тон. Счел тем не менее нужным сообщить Страхову, что «длинное письмо», предшествующее этому, не посылает. Страхов несколько раз просил все-таки его прислать («Почему бы не послать? Я бы верно многому научился, и уверяю Вас — не могу придумать, как я могу обидеться на какие бы то ни было Ваши мысли. Если хотите быть добрыми до конца, пришлите»),¹³⁴ но Толстой не пожелал быть до конца добрым, вынужденно слухавил: «Письмо к вам затерял, да оно не стоило того. Я лучше вам всё скажу, когда Бог даст свидеться».¹³⁵

Убрав проповедь и резкие определения, Толстой сохранил из «длинного» письма главное: «Письмо ваше нехорошо и душевное состояние ваше не-

¹³⁰ Там же.

¹³¹ Там же. С. 545—546.

¹³² Там же. С. 546.

¹³³ Там же.

¹³⁴ Там же. С. 548.

¹³⁵ Там же. С. 550.

хорошо. И писать вам свою жизнь нельзя. Вы не знаете, что хорошо, что дурно. Вы, живущий добро и для добра, тужите, что в вас нет страстей — зла. Дай вам Бог пересилить всю наросшую ложь ваших представлений — я снял часть этой коры и знаю отчасти толщину ее — и полюбить себя, вашу жизнь добра саму в себе, которую я люблю в вас, в себе, в Боге и которую одну можно любить и в которой одной можно жить». Не скрыл и личных чувств: «И ваше письмо очень опечалило и взволновало меня».¹³⁶

Страхов, вероятно уже раскаявшийся в том, что послал письмо-исповедь, с облегчением вздохнул — он так боялся, что Толстой отвернется от него, «гадкого», покинет его, а тут такой добрый и снисходительный ответ: «Вы пожалели обо мне, когда я попробовал открыть Вам гадости, которые у меня на душе. Вы видите, что я был прав, когда молчал, и сами советуете мне молчать. Но ведь жаловаться так приятно! Только прошу Вас, не отвертывайтесь от меня, не бросайте меня».¹³⁷

Страхов смущен и растерян, отчасти потому, что согласился исповедаться, но одновременно и удовлетворен: избавился от «печальных чувств», излил душу, тем самым очистив ее. Оправился от груза неожиданных признаний и Толстой, голос которого звучит ласковее и задушевнее. О болезни ни слова, и все сильнее проступает жалость к несчастному человеку: «Я рад был заглянуть вам в душу, так как вы открыли; но меня огорчило то, что вы так несчастливы, беспокойны. Я не ожидал этого. — И признаюсь, никак не могу помириться с мыслью, что вы не знаете, зачем вы живете и что хорошо и что дурно. Мне не только кажется, но я уверен, что Вы всё это на себя выдумываете. Вы не умели сказать то, что в вас, и вышло что-то непонятное». Как бы то ни было, но Толстой вновь отговаривает Страхова от автобиографических сочинений, настойчиво отговаривает: «Но писать свою жизнь вам нельзя. Вы не сумеете». И — что уж совсем удивительно — радуется тому, что Страхов пишет статью: «Вот это вы умеете».¹³⁸ Ранее Толстой все сожалел о газетно-журнальной работе Страхова, неодобрительно отзываясь о критиках и критике.

Страхов, вняв совету Толстого, отложил исповедальные признания в сторону — как выяснилось позднее, на время. Толстой действительно не напечатал свое «нехудожественное» сочинение, переработав несколько позднее первую главу в начало «Исповеди», чрезвычайно отличной от эпистолярной исповеди Страхова — и тем не менее сложным образом с ней связанной. Сравнительно спокойная реакция Толстого на «обличающее» Достоевского письмо Страхова становится понятна в контексте всего диалога между писателем и критиком. Наверняка в письме Страхова Толстой увидел еще одно и необыкновенно сильное проявление душевной болезни, которая лежит в «подноготной» его отречения от Достоевского.

Время от времени Страхов будет возвращаться к исповеди, напоминая о ней и ответах Толстого, дорожа возможностью посылать ему своего рода духовные репортажи. Радостно пишет 4 мая 1881 года о хороших переменах: «Душа моя — в исправлении помаленьку моих недостатков, которых, как Вы знаете по моей исповеди, у меня много. Я чувствую, что понемногу наступаю во мне мир, — и не могу Вам выразить, как отрадны мне даже неполные, временные ощущения этого мира».¹³⁹ Через несколько недель перемена к худшему, и Страхов пишет об этом Толстому (может быть, и для себя ставит вехи): «Нравственно за это время я тоже очень недоволен собою; были дни, когда я даже забывал обращаться лицом к тому идеалу, с которо-

¹³⁶ Там же. С. 547.

¹³⁷ Там же. С. 548.

¹³⁸ Там же. С. 550.

¹³⁹ Там же. С. 604.

го не нужно спускать глаз; постараюсь это прекратить».¹⁴⁰ В ноябре того же года рефлектирует по поводу того, что в его натуре нет «порыва и огня», и пишет о благотворном влиянии Толстого: «Не имея положительных качеств, я решил заботиться об отрицательных (...) На усилия, на крутые повороты я неспособен, но знаю, что постоянно держась одной мысли, одного пути, могу дойти до чего-нибудь хорошего. Я стал несравненно спокойнее, чем был, и все благодаря Вам и чтению монашеских книг. Правда, это спокойствие беспрестанно нарушается и опять приходится бороться; но колебания эти далеко не так мучительны, как бывали».¹⁴¹

Избран Толстого своим духовником, Страхов присылает ему изредка покайнные бюллетени. В 1884-м: «Покаюсь Вам, бесценный Лев Николаевич, я поддавался новым гадостям, которые открылись у меня в душе, боролся с ними, но очень мучился и унывал. Почему-то на этот раз мне было совершенно ясно, что я в глубине души очень пошел и дурен»; «Мне все кажется, что по мере того, как я подавляю в себе одни дурные стороны, нарождаются или появляются другие».¹⁴² В 1887-м: «Хочу покаяться перед Вами. Все это время, весну и лето, я чувствовал себя таким дурным, что готов был у всех просить прощения, готов был ото всех убежать куда-нибудь. Меня давила непобедимая тяжесть (...) Вы справедливо запрещаете тосковать, и я знаю, в таких случаях, что душа моя болеет от своей нечистоты (...) Всеми силами я стараюсь меньше копать с собой и меньше занимать собою других; но это не всегда удается, и я должен просить прощения и за свою деревянность в Ясной Поляне и за свои теперешние излияния».¹⁴³

Казалось бы, все более или менее устоялось или «образовалось», и по знакомой уже колее продолжилась переписка между Толстым и Страховым, в основном деловая, профессиональная, с довольно редкими и однообразными, становящимися постепенно почти формальными личными признаниями критика, смиренно и с благодарностью воспринимавшего все (или, точнее, многое — неоднократно он и осторожно полемизировал), что писал и говорил Толстой. Но смирения явно не было в вечно рефлектирующей, темной, интровертной натуре Страхова, самолюбие которого бунтовало против того, что навязывалось извне. Он болезненно воспринимал мнения о себе современников. Больно задела Страхова слова Василия Розанова, с которым у него были добрые отношения (Розанов не жаловали в Ясной Поляне), в рецензии на книгу «Мир как целое», в которой Розанов упрекал автора в том, что тот «не договаривает своих мыслей до конца», не желает «обнаруживать самые заветные из своих убеждений перед толпою». Эту и другую, большую цитату из рецензии Страхов приводит в письме Толстому от 24 августа 1892 года: «У г. Страхова есть, по-видимому, некоторое недоверие к своим читателям, и, желая влиять на них, говоря все, что могло бы наилучше образовать их ум и сердце, он не говорит еще самого интересного, что они могли бы узнать от него. То, что вызывалось в давние годы необходимостью, потом стало уже привычкой. Но для читателя сочинений его, для понимающего их смысл и значительность, всегда остается печальным, что между ним и множеством людей никогда не будет совершенно отброшена разделяющая завеса, что некоторая пленка благоразумия всегда будет удерживать и его и других на почтительном расстоянии от того, к кому они и могли бы, и хотели бы быть гораздо ближе».¹⁴⁴

¹⁴⁰ Там же. С. 607.

¹⁴¹ Там же. С. 624.

¹⁴² Там же. С. 665, 674.

¹⁴³ Там же. С. 751.

¹⁴⁴ Там же. С. 909.

Слова Розанова похожи на то, что говорится в опубликованных уже и, конечно, знакомых ему суждениях Достоевского в письмах Страхову (портрета Страхова в записной книжке Достоевского, где о тех же «семинарских» чертах Страхова — литератора и человека сказано несравненно резче, естественно, Розанов не знал). Однако Страхов в письме вспоминает не эти суждения Достоевского, а один совет Толстого, прозвучавший семнадцать лет назад, и поразительно, как четко, огненными словами запечатлелся он в душе критика: «Не правда ли, что это сходится с Вашим советом — рассказывать себя, выйти перед читателем без мундира и без орденов?»¹⁴⁵

Впрочем, Страхов вспомнит и Достоевского, свои слова о нем в письмах Толстому. Еще раз подчеркнет отличие своей «скромной» природы от себялюбивой и надменно-самоуверенной, как ему представлялось, природы Достоевского (тот почти неизменно был своего рода ориентиром, точкой отсчета в исповедально-автобиографических признаниях Страхова). Совет Толстого (равно и пожелания Достоевского, Розанова и других) Страхов вежливо, но убежденно отклоняет: «Об Вашем совете я прилежно думал и наконец сказал себе: Как странно! Они хотят, чтобы я перестал быть самим собою! Ведь моя объективность и есть выражение моего ума, моей природы. Я не могу говорить о своих личных делах и вкусах; мне это стыдно, стыдно заниматься собою и занимать других своею личностью. Мне кажется всегда, что это не может быть для других занимательно, и потому я берусь за их дела, за их интересы, или рассуждаю об общих, объективных вопросах. Или еще иначе: у меня есть действительное расположение к скромности; я не считаю себя, как Руссо или Достоевский, образцами людей — напротив, я очень ясно вижу свою слабость и скудость, и потому высоко ценю всякую силу и способность других, а главное — ищу всегда общей меры чувств и мыслей, а не увлекаюсь своими мгновенными расположениями, не считаю своих мнений и волнений за норму, за пример и закон».¹⁴⁶

Вновь Страхов, отличавшийся большим упорством и постоянством, повторил высказанное ранее в биографии (в мягкой форме) и в письме Толстому 1883 года (с обличительными и раздраженными интонациями) свое крайне субъективное и недоброжелательное мнение о Достоевском — писателе и человеке: «Достоевский, создавая свои лица по своему образу и подобию, написал множество полупомешанных и больных людей и был твердо уверен, что списывает с действительности и что такова именно душа человеческая. К такой ошибке я неспособен, я не могу не объективировать самого себя, я слишком мало влюблен в себя и вижу хотя отчасти свои недостатки».¹⁴⁷

Достоевский просто пришелся к слову и месту. Страхов поглощен почти всецело мыслями о себе, о своей индивидуальности, о своей «физиономии», о своем литературном стиле, органично связанном с характерными свойствами природы. В сущности, он предпринимает энергичную попытку отстоять свою объективную позицию, несколько преувеличивая свои привлекательные стороны (то, что выгодно отличает его от влюбленных в себя Руссо и Достоевского): «Теперь возьмите все это вместе; мою стыдливость, деликатность, скромность — ведь это моя душа, положительная сторона моего существа, которую я сам ценю и всячески стараюсь поддерживать. Если она выразилась в моих писаниях, то тем лучше — у меня, значит, есть настоящее своеобразие, определенная физиономия и я готов радоваться упрекам Розанова».¹⁴⁸

¹⁴⁵ Там же.

¹⁴⁶ Там же. С. 909—910.

¹⁴⁷ Там же. С. 910.

¹⁴⁸ Там же.

Мундир объективности он снимать решительно отказывается, так как это не внешняя одежда, а суть его природы, часть души, утратить которую равносильно смерти. С эмоциональным подъемом он повторяет Толстому в письме то, что бесчисленное количество раз произносил в воображаемом внутреннем монологе, превосходно описывая подноготную своего литературного труда: «Вы желаете, чтобы я снял мундир и ордена; но этот мундир есть моя собственная кожа и я выскочить из нее не могу. Разве я не правдивый и добросовестный писатель? Когда пишу и не нахожу надлежащего слова или не вижу правильного развития мысли, я просто не могу писать, остаю навливаюсь (...) Все ведь можно преувеличивать, и свои достоинства, и свои недостатки, и свое самодовольство, и свое раскаяние, и радость и муки. Я боюсь этой фальши. Я слишком раздражителен и впечатлителен, и потому ищущу всегда покоя и равновесия. Я пропитан скептицизмом, и потому крепко держусь за ясные, твердые истины. А что я не высказываюсь до конца, то ведь потому, что это гораздо труднее, чем полагают те, кто этого требует. Есть знаменитый пример — Платон; его разговоры не имеют окончательных выводов. Главное дело в том, чтобы рассуждать, мыслить; а поприще мысли мне всегда казалось безбрежным океаном».¹⁴⁹

Не забыл Страхов и о другой, оборотной стороне своей души, напомнив Толстому, что уже раньше писал об этом, кратким перечнем отрицательных свойств природы («скрытность, гордость, сухость, недоверие, отсутствие живых отношений к людям»), тесно, по диалектическим законам, слитых с положительными, находящимися с первыми в состоянии перманентной войны, в которой нет победителей. Этой сугубо частной, личной военной хроникой он с читателем делиться не собирается: «Я подавляю эти недостатки сколько могу, стараюсь дать им наилучший смысл, обратить в соответствующие им достоинства. Кроме того, всегда я жажду любви, доверия, нежности, но мое самолюбие и гордость меня коробят и отталкивают».

Но зачем же и для кого я стану рассказывать эти обыкновеннейшие истории? Я очень ясно отличаю мое личное, случайное, от того, что имеет общий интерес; когда пишу, то стараюсь возводить свои мысли до общеинтересного, для всех законного и убедительного: тогда я уверен, что меня не обманывает свойство моей души и случай моей жизни».¹⁵⁰

Рассуждения Страхова интересны, хорошо знакомы с приемами литературного труда критика и философа, в какой-то степени справедливы, но и уязвимы. Субъективное и случайное, общее и личное он пытается разграничить, разделить, создав преграды, возведя прочные стены. Однако такого можно достичь только в теории и в идеале. В действительности, как особенно ярко показывает нарисованный им портрет художника и частного человека Достоевского, он неизбежно стирает грань между объективным и субъективным, общим и случайным, личным, не только не достигая объективных результатов, но превышая всякую меру субъективного, опускаясь до карикатуры, низких сплетен и клеветы, да еще и с маниакальным упрямством настаивая на своей абсолютной правоте, на объективной точности своих суждений.

Любопытна и очередная попытка исповеди, которую Страхов вновь обрывает, не желая рассказывать о слишком конкретном, ограничившись

¹⁴⁹ Там же. С. 911.

¹⁵⁰ Там же. С. 910. В «биографических сведениях» Страхов так формулировал свою оставшуюся неизменной позицию: «Внутренняя моя жизнь, т. е. мои грехи, покаяния, радости и горести, всегда казалась мне трудным предметом (каким тоном ее писать?) и едва ли стоящим того труда, который нужно бы на нее положить» (*Никольский Б. И.* Биография Н. Н. Страхова. С. 262).

простой констатацией пороков и разных проступков. По сути, такое растворение во всеобщем, объективирование прошлого является отказом от исповеди, отказом, страстно прозвучавшим в этом письме критика Толстому. Страхов и испытывает большую потребность исповедаться перед Толстым, и не может заставить себя коснуться прискорбных эпизодов своей жизни, отдавая предпочтение обобщенному рассказу, очищенному от слишком ранящих («стыд стыда») низких подробностей: «Самое интересное и важное в моей личной жизни есть, конечно, мои пороки и проступки, и то, как я с ними боролся и борюсь. С 1868 года я не знаю женщин и перестал пьянствовать, следовательно, началась для меня не жизнь, а житие, как выражался Писемский. Я пришел тогда в страшное состояние, боялся сойти с ума, и потому бросил все свое распутство и решил оттерпеться, чтобы спасти свой ум. Было трудно, но я уперся и после многих лет почувствовал, что оправляюсь. Эта история моего самосохранения, пожалуй, поучительна. Наши желания и наши чувства от нас не зависят; но не делать того, к чему побуждают нас наши чувства и желания, мы всегда можем. Нужно бы написать об этом, но если успею, то все-таки напишу вообще, а не стану рассказывать своих опытов. По этому правилу я и до сих пор веду себя. Я оттерпливаюсь от дурных мыслей и чувств, не даю им ходу и останавливаюсь только на ясных мыслях и добрых чувствах. Рассказывать эту постоянную борьбу, иногда очень горькую и противную, я считаю вовсе не нужным, не нахожу ее для самого себя занимательною. Зачем копать в собственных извращениях? Может быть, я чаще других подвергаюсь душевному упадку, и этот упадок имеет у меня особый вид — что же из этого? Все-таки лучше прятаться, когда у вас случается понос и рвота. Истинная наша жизнь совершается, когда мы вполне крепки и здоровы душою, и у меня бывают дни и часы такого здоровья».¹⁵¹

Содержало письмо и обычную смиренную просьбу Страхова: «Но довольно, довольно! Простите меня и скажите мне хоть несколько слов в ответ на эти признания. Нужно быть самим собою — этого правила я всегда держался; но Вы — сердцевед и можете указать мне, где я прикидываюсь и ломаюсь».¹⁵²

Толстой в ответе на «чудесное» письмо Страхова никак не стал детально разбирать и оценивать его признания, указывать, где он «прикидывается и ломается» (он уже привык к этому и считал в большой степени проявлениями душевной болезни), но с «правилами» и заключениями критика не согласился, остался при своем мнении: «Письмо ваше лучше всего подтверждает мои слова и опровергает его содержание».¹⁵³

Конечно, Толстой не мог не заметить, что Страхов вновь навязывает ему свое видение личности и творчества Достоевского, которое он оспаривал ранее. Теперь он счел необходимым высказаться резче и определеннее, поставив точку в затянувшемся разговоре: «Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. И что ж! Результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее. — Не только в художественных, но в научных философских сочинениях, как бы он ни старался быть объективен — пускай Кант, пускай Спиноза, — мы видим, я вижу только ум, характер человека пишущего».¹⁵⁴

¹⁵¹ Там же. С. 910—911.

¹⁵² Там же. С. 911.

¹⁵³ Там же. С. 913.

¹⁵⁴ Там же.

Гениальный и исчерпывающий ответ. Неудивительно, что Страхов больше к этим, необыкновенно волновавшим его сюжетам в переписке с Толстым возвращаться не будет. Да и имя Достоевского почти исчезнет в письмах Страхова. Дружественные отношения с Анной Григорьевной не прерывались. Желая сделать приятное Льву Николаевичу и Софье Андреевне, он сообщает как бы между прочим Толстому: «Кто это восхищался Ванечкой? Да, Анна Григорьевна Достоевская, не находившая слов, чтобы похвалить и его и Софью Андреевну».¹⁵⁵ Под занавес, незадолго до смерти он еще напишет Толстому: «А в прошлом мне особенно грустно и поучительно вспоминать о последнем фазисе Достоевского. Его патриотизм и церковный фанатизм доходили до болезненной щекотливости».¹⁵⁶ В 80-е годы Страхов совсем иначе писал о «последнем фазисе» Достоевского, но вряд ли здесь следует усматривать коварство и недоброжелательность — воззрения Страхова под могучим воздействием Толстого к тому времени сильно изменились: от присущего ему славянофильства и патриотизма почти ничего не осталось.

Все же Страхов предпринял, набравшись мужества и усмирив «стыд», еще одну попытку исповеди, решив последовать совету Толстого. Бодро начал 1 августа 1893 года письмо из Мюнхена, но, дойдя до конкретных «опытов», круто оборвал рассказ: «Вы уговаривали меня писать субъективнее, откровеннее. Хорошо, я попробую — не знаю, как Вам понравится. Та любовь к себе, которую чувствует каждый, у меня, может быть, имеет в себе что-нибудь отвратительное. Здесь и в Эмсе я много каялся в своих грехах. В моей жизни я не делал зла — кроме разве одного случая — соблазна девушки, которого я тогда не считал грехом. И жадности у меня никогда не было. Но, Боже мой, каким эгоистом я прожил жизнь! Сколько случаев сделать добро, помочь, утешить я пропустил бессовестно! Мои бедные братья! Да мало ли посторонних людей и разных дел, где я показал свою сухость и холодность! Всего больше меня, однако же, мучит несчастная судьба двух жертв моего распутства. С моей стороны тут было только легкомыслие, но как оно жестоко разыгралось! Поздно я понял, но понял, однако, что связь с женщиной иногда равняется убийству, членовредительству, что это — неоправимое вмешательство в чужую жизнь. И теперь мне нет никакого утешения!

Но это все мои личные дела, в которых, кроме себя, мне не на кого жаловаться. А я хочу Вам пожаловаться на свою судьбу».¹⁵⁷

Пересилить натуру Страхов не смог и на этот раз. Быстро свернул рассказ о ставших уже давно историей «опытах», память о которых возбудило так сильно задевшее Страхова прочтенное им в Эмсе весной 1875 года письмо Толстого. Он откладывает в сторону (но, к счастью, не уничтожает) слишком личное и субъективное письмо, в котором очевидно влияние повести «Крейцерова соната» (в целом ряде писем к Толстому он разбирал повесть, сообщал о реакции читателей и слушателей, а в Германии ее переплел, читал и перечитывал), и начинает новое: «Ваше письмо, бесценный Лев Николаевич, полученное мною в Эмсе, не дает мне покою. Беспреданно об нем думаю (тут что же делать, как не думать?) и много раз собирался отвечать, вчера затеял длинное письмо, начал и бросил: слишком высокий тон, на который я, кажется, не имею права».¹⁵⁸

¹⁵⁵ Там же. С. 975.

¹⁵⁶ Там же. С. 1026. Письмо от 25—26 декабря 1895 года.

¹⁵⁷ Там же. С. 925.

¹⁵⁸ Там же. С. 926.

Страхов неточен: в начатом и брошенном письме тон был не слишком высокий, а откровенный, интимный, исповедальный. Еще одна неудачная попытка избавиться от тесной одежды и орденов. Несколько в ином, объективированном ключе присутствует исповедь и в этом новом письме. Толчком к рассказу о своей литературной судьбе, о разных стадиях бесконечной борьбы с многоглавой гидрой нигилизма, стали «несравненные» «места и выражения» из трактата Толстого «Критика догматического Богословия» (он и эту книгу переплел в Эмсе), особенно слова, выделенные Страховым курсивом: «Одно из них прямо из моего сердца: „я залез“, пишете Вы, „в какое-то смрадное болото, вызывающее во мне только те самые чувства, *которые я боюсь более всего: отвращения, злобы и негодования*”». ¹⁵⁹

Чувства, слишком знакомые Страхову, которых он боится, вдохновляясь примером особенно любимого им героя «Войны и мира»: «Да, я истинно боюсь этих чувств, и потому, как Ваш Платон Каратаев, стараюсь везде отыскивать *благообразие*; я стараюсь всеми силами найти хоть каплю благообразия в том, что около меня делается и существует. Стараюсь понять, простить, а главное — стараюсь не пропустить того добра, которое смешано со злом». ¹⁶⁰

Дальше Страхов, опуская вызывающие краску стыда «опыты», предлагает Толстому ретроспективный очерк своего умственного развития, взгляд на себя прежнего со стороны. Очерк, с самых первых тактов окрашенный в эгегические, меланхолические тона: «Недавно я как-то очень разжалобился над собою. Какая печальная жизнь! Мальчик, совершенно неспособный к ненависти, вражде, борьбе приехал из глуши в Петербург. ¹⁶¹ Он усердно занимался наукой, но его потянуло к литературе, к этому *самозванному парламенту*, как выражается Карлейль. И начинается чертова комедия. С 1856 года все мечты литературы — разрушение, революция. Начинается брань на всех и на все, не только на самое гадкое, но и на самое дорогое. Вали все, — после разберем! (...) Представьте себе, что десять лет я читаю эти выходки. Каждый месяц выходит несколько толстых журнальных книг, и я вижу, что между строками в них написано: *кровь и огонь! огонь и кровь!* (...) И при этом — русское невежество, русское легкомыслие, отчаянное русское недоброжелательство и злоречие ¹⁶² — да не скоро переберешь всю эту гадость». ¹⁶³

Личная биография почти сразу переходит в литературную, в рассказ о литературной судьбе Страхова, вынесшего много обид, остулавшегося, но даже и не собирающегося каяться.

¹⁵⁹ Там же.

¹⁶⁰ Там же.

¹⁶¹ Как раз в раннюю петербургскую пору жизнь Страхова нельзя назвать «печальной», об этом убедительно говорят опубликованные М. И. Щербаковой материалы. Тогда он жадно впитывал знания, мечтал о путешествиях в Европу и Вавилон, окуная в пестрый водоворот столичной жизни: «Много прелестей и в жизни разнообразной, пылкой, живой, кипящей, бешеной». И хотя овладевали им и в юные годы печальные мысли (трезвая оценка себя со стороны), но молодость побеждала, прогоняя их: «У меня нет ни капли творчества, нет быстроты и живости. Пустою и туманною представляется мне перспектива будущей жизни. Неужели я буду чиновником или учителем гимназии? Неправда ли, что лучше всего наслаждаться студенческим жизнью и попробовать, между прочим, не выжмет ли из меня чего-нибудь хорошего? Нужны только деньги, но где мне достать вас, деньги? Я достану! И жизнь моя, покамест будет легка и приятна, но никогда не будет забрызгана грязью» (Москва. 2004. № 10. С. 198).

¹⁶² В статье «К портрету Пушкина», размышляя над трагической судьбой поэта, Страхов писал: «...с такою душою, какая была у Пушкина, он должен был много страдать. Это была душа, как он сам говорит, *доверчивая и нежная*; вообразим же себе обыкновенные недостатки нашего общества: русское недоброжелательство, русское злословие, русское взаимное недоверие, наконец, русское невежество и русский цинизм, и мы поймем, что душевные чувства Пушкина были непрерывно оскорбляемы» (*Страхов Н. Н.* Литературная критика. С. 166).

¹⁶³ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 926—927.

В последние годы страдающего от неизлечимой болезни Страхова Толстой стремился «облегчить, успокоить», оказывал ему посильную духовную помощь, очень советовал не впадать в грех уныния: «Уныние, вы знаете, что грех, и потому, верно, боретесь с ним, а одиноким не может быть никто, у кого есть общение с Богом. Если открыт путь на эту главную станцию, то оттуда уже беспрепятственное и бесконечное общение со всем истинно живым. А у вас должно быть это общение с главной станцией, с Богом».¹⁶⁴

Утешение как утешение, несколько, кажется, холодноватое, особенно если сравнить его с ответным плачем Страхова, еще раз исповедующегося Толстому и сравнивающего себя с героями «Хозяина и работника»: «Да, я свой грех знаю, и думаю о нем каждый день. Словами я выражаю это так: нужно обратиться к Богу. И вот, хочу исповедаться перед Вами: мне становится страшно от этой мысли; я чувствую себя таким ничтожным, слабым, порочным, я начинаю ставить для обращения к Богу такие высокие требования, желать в себе такой глубокой перемены, что теряю всякую решимость, не могу приступить к делу. Так со мною было всегда, всю жизнь. Я не женился и не собирался жениться только потому, что дело мне казалось сложным, трудным, ответственным. Я всегда очень боялся вмешательства в чужую жизнь со своей стороны, и старался не брать на себя никаких обязательств, пугаясь того, что не могу выполнить их как следует. Боже мой! Какая уродливость, какая безжизненность! Вероятно, отец родил меня в минуту несчастного раздумья. Все мне представляется в отвлеченном виде, и потому сложным и трудным; чувство никогда не бывает настолько живо, чтобы увлечь меня и порвать сеть мыслей. Я только избегаю дурного и только желаю хорошего, но делать хорошее не делаю по слабости стремления (...) В последнее время я много каюсь, много усиливаюсь понять себя и свою жизнь настоящим образом. И я постоянно ловлю себя на самолюбивых мыслях; рассказывая о Василии Андреевиче, Вы обо мне написали. Я все тешу себя похвалами, которые заслужил и еще надеюсь заслужить, или обижаюсь иногда невниманием и высокомерием, которое встретил. И эти пустяки составляют ежедневную пищу моей души! Как бы мне выгнать свой эгоизм, как бы приобрести добродушие и спокойствие Никиты?»¹⁶⁵

До Никиты умирающему Страхову, очевидно, весьма далеко. Он кается Толстому спустя полтора месяца в самом большом своем грехе — созерцательном и «спасительном» эгоизме: «Да, я счастлив, что как-то спасся от суетоки жизни. Но ведь я оттерпелся, отмолчался, отлежался... Не дай Боже никому тех пакостей, которые я перенес! Другие опасности, другие горести я считаю лучше моих, даже не стоящих названия опасностей и горестей».¹⁶⁶

В январе 1896 года Страхов умер, так и не прочитав последнего письма к нему Толстого, которое должны были доставить Борис Русанов и Павел Щеголев. Толстой записал в дневнике: «Я жив, но не живу. Страхов. Нынче узнал об его смерти». Они последнее время часто писали друг другу о смерти, не ведая, кого избереет слепой жребий первым. Он пал на Страхова, что опечалило Толстого — ушел старый друг и Толстого и всей семьи писателя,¹⁶⁷ постоянный гость Ясной Поляны, с которым он привык вести дол-

¹⁶⁴ Там же. С. 992. Письмо от 26 апреля 1895 года.

¹⁶⁵ Там же. С. 994—995.

¹⁶⁶ Там же. С. 1008—1009.

¹⁶⁷ Страхов неоднократно писал в письмах к Толстому, Софье Андреевне, Татьяне Львовне о своей любви ко всей толстовской семье и к Ясной Поляне. И он был всегда там желанным и дорогим гостем (см. об этом: *Толстой С. Л. Николай Николаевич Страхов* / Публикация Н. П. Пузина // Яснополянский сборник. 1982. Тула, 1984. С. 128—135; Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. Переписка с Н. Н. Страховым / Ред. А. А. Донсков. Сост. Л. Д. Громова и Т. Г. Никифорова. Ottawa, 2000.

гие литературные и философские беседы (эпистолярные и устные). Замечать Страхова было некем. Ушел, так и не сняв с себя «мундира», унеся с собой много тайн и загадок, и среди них — тайну так бурно выплеснувшейся ненависти к Достоевскому.

Вспоминал Толстой преданного друга тепло и с благодарностью: «Он был очень серьезный человек, умный. Он был критик лагеря, не согласного с Михайловским, Добролюбовым. Человек очень умный, образованный, философской эрудиции»;¹⁶⁸ «Он был необыкновенно скромный и огромной читанности. Он ценил других и себя забывал. Был предан литературе»; «Он был критик, ученый человек, необыкновенно добрый, но опять профессор»; «Он критик был очень тонкий».¹⁶⁹ Запомнились любовь Страхова к Ясной Поляне, то, как он своим тихим голосом говорил: «Как у вас хорошо гулять по нижней аллее»,¹⁷⁰ и страх перед смертью, так отчетливо проявившийся в исповедальных письмах критика к нему и беседах: «Н. Н. Страхов не хотел думать о смерти, боялся ее».¹⁷¹

Об отношении Страхова к Достоевскому Толстой помнил смутно. В феврале 1907 года Софья Андреевна рассказывала в Ясной Поляне о своей работе в Историческом музее: «Читала письмо Страхова к Л. Н. о Достоевском, биографию которого Страхов писал; пишет, что он был тщеславный, злой, развратный; как об этом писать? Решил умолчать, пусть зло погибнет». Толстой откликнулся с энтузиазмом, похвалив Страхова: «Вполне, вполне, вполне! Это на него похоже — и прекрасно».¹⁷² В июле 1908 года Маковицкий рассказал Софье Андреевне про фельетон В. Ф. Боцяновского «Сплетня о Достоевском» (газета «Русь», 1908, № 159, 11 июня), где опровергалось, что «Достоевский был безнравственной жизни, как недавно вспоминала Софья Андреевна, опираясь на письмо Н. Н. Страхова». Толстой был огорчен и осудил письмо Страхова: «Л. Н. не знал, что такие вещи говорились о Достоевском:

— Нехорошо было со стороны Страхова».¹⁷³

Гораздо отчетливее запомнились Толстому письма критика с другими, противоположными по смыслу и тональности высказываниями Страхова о Достоевском, о чем свидетельствуют его слова, произнесенные 12 февраля 1910 года: «Достоевского любил».¹⁷⁴

Статья третья

ТОЛСТОЙ ЧИТАЕТ РОМАН «БРАТЯ КАРАМАЗОВЫ». «ЧУДНЫЙ СЮЖЕТ»

Толстой неизменно восхищался «Записками из Мертвого дома» (но не языком и художественной стороной, а христианской точкой зрения), «умилялся», читая «Униженные и оскорбленные» (вряд ли, однако, считал роман совершенным с художественной точки зрения — диалоги в произведениях Достоевского его всегда раздражали, а в этом романе они особенно од-

¹⁶⁸ Лит. наследство. 1979. Т. 90. Кн. 2. С. 364.

¹⁶⁹ Там же. Кн. 4. С. 181, 216.

¹⁷⁰ Там же. С. 181. Софье Андреевне, весьма благосклонной к Николаю Николаевичу («Один из лучших людей»), памятли были слова критика об одном заветном замысле, который он так и не осуществил: «Я всё откладываю самое мое любимое дело — описание жизни в Ясной Поляне» (Там же. С. 67).

¹⁷¹ Там же. Кн. 1. С. 222.

¹⁷² Там же. Кн. 2. С. 385.

¹⁷³ Там же. Кн. 3. С. 133.

¹⁷⁴ Там же. Кн. 4. С. 181.

нообразны и однотонны), ценил «Преступление и наказание» (первую часть, потом, он считал, пошло хуже, монотоннее — «размазывание»). Пожалуй, все же читал Толстой Достоевского не очень внимательно и урывками, а некоторые романы, возможно, просто перелистал. Немного колебался в своем отношении к Достоевскому — определенную роль тут сыграли и письма Страхова, но, в конце концов, прервал ставший тяготить его слишком односторонний разговор о Достоевском со Страховым, отчитав последнего. С нескрываемым удивлением Толстой наблюдал все возраставший интерес к Достоевскому в России и за ее пределами, после смерти Страхова переросший в своего рода культ. Этот головокружительный посмертный успех Достоевского представлялся ему загадкой, которую он в последний период своей жизни попытался разрешить.

Иногда Толстой перечитывал любимые места из «Записок из Мертвого дома» и «Братьев Карамазовых» (жизнеописание Зосимы), но к другим произведениям Достоевского предпочитал не обращаться, полагая, видимо, что все это «не то». Толстой несколько раз принимался за чтение «Братьев Карамазовых», но, дойдя где-то до середины романа, с раздражением бросал. Первую попытку Толстой предпринял в первой половине 1880-х годов (видимо, после смерти Достоевского), но, как он говорил Г. А. Русанову, не смог дочитать роман. Больше всего Толстому не понравились диалоги и монологи героев (мнение это и позднее не изменится): «Мало того, что они говорят языком автора — они говорят каким-то натянутым, деланным языком, высказывают мысли самого автора».¹⁷⁵ Спустя десять лет (в марте 1892 года) Толстой благодарит В. Г. Черткова за присланных им «Братьев Карамазовых»: «Карамазовых я читал и в особенности всё, что касается Зосимы, но прочту еще раз». Приступил Толстой к новому чтению романа осенью того же года. Главы романа, как это было принято, читали вслух по вечерам. В ноябре Толстой писал жене: «Очень мне нравится». Но, видимо, вновь произошла какая-то заминка, и чтения прервались.

Отбирая тексты для «Круга чтения», Толстой (у него была привычка перечитывать понравившееся неоднократно) однажды остановился на фрагменте из «Братьев Карамазовых», и снова умилился. Д. П. Маковицкий написал 8 апреля 1905 года: «В три четверти девятого Л. Н. вышел из кабинета в залу и прочел вслух отрывок из „Братьев Карамазовых“ — „Поединок“. Читает он как великий художник. Место, где офицер дает пощечину денщику, читал сильным голосом; где офицер жалеет о том, что сделал, — рыдал и глотал слезы. Когда закончил, был очень растроган. Лицо в морщинах, усталый; сидел погруженный в размышления, молчал. Последовали замечания на прочитанное: Михаил Сергеевич (Сухотин. — В. Т.) заметил, что слишком длинно для „Круга чтения“; Николай Леонидович (Оболенский. — В. Т.) — что слог извилистый и первый рассказ фальшив; повторения: „Я виноват за всех и вся“. Были и другие замечания. Л. Н. не вмешивался, только сказал, что можно сократить...»¹⁷⁶

Похоже, что окружение Толстого привыкло к такой эмоциональной реакции. Очевидно, что она на этот раз их мало впечатлила. Среди близких Толстому людей были и критически относившиеся к творчеству Достоевского — отсюда и скептические реплики.

Другой раз, 12 мая 1909 года под впечатлением от чтения фрагментов из «Мертвого дома» (смерть каторжника) Толстой «высказал мысль, что Досто-

¹⁷⁵ Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. М., 1979. С. 201.

¹⁷⁶ Лит. наследство. Т. 90. Кн. 1. С. 239—240.

евский и Гоголь не разбираются критиками, потому что это были серьезные люди. А Тургенев, Чехов — легкомыслие, ничтожество, а их разбирают. У Тургенева нет ни одной страницы, которая равнялась бы Достоевскому: нет серьезности».¹⁷⁷

Большая часть суждений Толстого последнего периода жизни о Достоевском — человеке и религиозном, независимом писателе теплые и сочувственные, обвинения Страхова он даже не вспоминает. Вот типичное высказывание Толстого, записанное Маковицким 21 марта 1906 года: «Достоевский не был так изящен, как Тургенев, но был серьезный. Он много пережил, передумал. Умел устоять, чтобы не льстить толпе».¹⁷⁸

Одновременно показательно, что Толстой долгое время не был знаком со статьями Достоевского в «Дневнике писателя» о романе «Анна Каренина». Познакомился он с ними, как свидетельствует запись Маковицкого за 21 сентября 1908 года, очень поздно, по пространным выдержкам, приведенным в биографии Бирюкова: «Я сегодня продолжал читать второй том биографии Л. Н-ча — Бирюкова. Сильно подействовала критика Достоевским „Анны Карениной“. Я говорил об ней Л. Н., он пожелал прочесть и сказал: „Достоевский — великий человек”».¹⁷⁹ Однако непосредственно к тексту Достоевского Толстой тогда не обратился. Более того, когда в конце 1909 года Толстой выразил желание «перечесть» Достоевского, Маковицкий принес книги, но чтение не пошло, как следует из простодушного рассказа летописца: «Я принес Л. Н-чу в кабинет I—III тома „Дневника писателя“ Достоевского, по изъявленному вчера желанию Л. Н. прочесть его. Л. Н. продержал один вечер и в 11 ч. сказал, что можно убрать, что не будет читать: „Он труден”».¹⁸⁰ Не трудности, видимо, остановили Толстого, а чуждость его настроениям и убеждениям тех страниц «Дневника», которые попались на глаза.

Да и роман «Братья Карамазовы» он помнил избирательно и плохо. Красноречиво говорит об этом запись Маковицкого от 3 января 1909 года. Речь в ней сначала идет о споре между болгаринном Христо Досевым, увлеченным учением Толстого, и писателем Наживиным по поводу «идеи Великого инквизитора». Спор Толстого заинтересовал, он попросил напомнить ему содержание «поэмки» Ивана Карамазова: «Пожалуйста, расскажите мне, какая это идея Великого инквизитора? Я ее забыл; я помню, что она мне тоже не нравилась. Достоевский на стороне Великого инквизитора?» Прямого ответа Толстой не получил. Его слова прозвучали как-то в стороне от спора, в который самоуверенно вмешался Чертков, сказавший, «что он стоит за братьев Карамазовых; Достоевский выражает в лице Алеши положительные стороны христианства; в словах безверника Ивана он больше критикует православие, чем отрицает христианство».¹⁸¹ Ясно, что Толстой смутно помнил как Алешу, так и «безверника Ивана».

Не удовлетворили Толстого и выписки, сделанные по его поручению из произведений Достоевского. Снова «не то»: «У Достоевского есть путаница, у него нет свободы, он держится предания и „русского, исключительного”. Он связан религией народа».¹⁸² Тем не менее Толстого неумолимо влечет к загадочному и «трудному» Достоевскому. 12 октября 1910 года он, преодолевая себя отчасти, приступает еще раз к чтению «Братьев Карамазовых». Первые впечатления от этого нового знакомства с романом не очень благо-

¹⁷⁷ Там же. Кн. 3. С. 409.

¹⁷⁸ Там же. Кн. 2. С. 399.

¹⁷⁹ Там же. Кн. 3. С. 206.

¹⁸⁰ Там же. Кн. 4. С. 113—114.

¹⁸¹ Там же. Кн. 3. С. 294.

¹⁸² Там же. С. 336.

приятные. В дневнике запись от 12 октября: «После обеда читал Достоевского. Хороши описания. Хотя какие-то шуточки, многословные и мало смешные, мешают. Разговоры же невозможны, совершенно неестественны». 14 октября он делится с окружающими своими впечатлениями: «Отвратителен. С художественной стороны хороши описания, но есть какая-то ирония не у места.¹⁸³ В разговорах же героев — это сам Достоевский говорит. Ах, нехорошо, нехорошо! Тут семинарист и игумен, Иван Карамазов тоже, тем же языком говорят. Однако меня поразило, что он высоко ценится. Эти религиозные вопросы, самые глубокие в духовной жизни — они публикой ценятся. Я строг к нему именно в том, в чем я каюсь, — в чисто художественном отношении. Но его оценили за религиозную сторону — это духовная борьба, которая сильна в Достоевском».¹⁸⁴

Хотя Толстой и не одобряет старой привычки судить о литературе с эстетической точки зрения, он не может удержаться и не сказать, что «художественное не терпит посредственности; тут нужно, чтобы это было такое, чтобы читатель перенесся в это, переживал то, что автор».¹⁸⁵

Чтение романа продолжается, но идет медленно, и двойственное отношение к нему Толстого сохраняется — недоумевает, почему так высоко ценят «нехудожественный» роман, и одновременно радуется этому факту как признаку поворота русской читающей публики к религиозным вопросам. Маковицкий записывает 18 октября: «Я спросил Л. Н., читает ли он Достоевского, и как...

Л. Н.: (о «Братьях Карамазовых»): Гадко. Нехудожественно, надуманно, невыдержанно... Прекрасные мысли, содержание религиозное... Странно, как он пользуется такой славой.

Душан Петрович: Слава Богу!

Л. Н.: Да, слава Богу! Видно, что религиозное содержание захватывает людей. П. П. Николаев говорит, что человека без религии нет».¹⁸⁶

Тем же утром: «В 11 ч., когда я вошел к нему, Л. Н. читал „Братьев Карамазовых“».

Л. Н.: Ох, какая чепуха, ужас! Как мальчик укусил за палец... Помните? Как Катерина Ивановна послала 200 рублей капитану, которого Митя (Карамазов) потащил за бороду».¹⁸⁷

На следующий день разговор о романе Достоевского продолжился, но протекал сумбурно и нервно. В разговоре приняли участие Софья Андреевна и Е. В. Молодцова. «Л. Н. заговорил о Достоевском: о поучениях старца Зосимы и о Великом Инквизиторе.

— Здесь очень много хорошего. Но всё это преувеличено, нет чувства меры.

Софья Андреевна: Жена Достоевского стенографировала, и он никогда ничего не переделывал.

¹⁸³ Иронию Толстой не любил. Заподозрив ее в письме Страхова, Толстой предупреждал: «В тоне вашего последнего письма есть что-то ироническое. Пожалуйста, не позволяйте этого в отношении меня, потому что я вас очень люблю» (Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 1. С. 159). Перепугавшийся Страхов горячо разувещивает его: «Как же это можно, бесценный Лев Николаевич! Значит, я очень дурно пишу, если Вы у меня нашли что-то ироническое. Нет, я в этом не виноват» (Там же. С. 160).

¹⁸⁴ Лит. наследство. Т. 90. Кн. 4. С. 380—381. Аналогична и запись в дневнике Софьи Андреевны Толстой от того же числа: «...читает „Карамазовых“ Достоевского и говорит, что очень плохо: где описания, там хорошо, а где разговоры — очень дурно; везде говорит сам Достоевский, а не отдельные лица рассказа. Их речи не характерны» (Толстая С. А. Дневники. Т. 2. С. 216).

¹⁸⁵ Лит. наследство. Т. 90. Кн. 4. С. 381.

¹⁸⁶ Там же. С. 385.

¹⁸⁷ Там же. С. 386.

Л. Н.: „Великий Инквизитор” — это так себе. Но поучения Зосимы, особенно его последние, записанные Алешей, мысли, хороши.

Молоствов: Как начнешь читать Достоевского, возникает протест, но потом захватывает.

Л. Н.: Я очень понимаю, что на него Белинский, кажется...

Молоствов: Я думаю, молодым не следует читать Достоевского.

Л. Н.: Ах, у Достоевского его странная манера, странный язык! Все лица одинаковым языком выражаются. Лица его постоянно поступают оригинально, и, в конце, вы привыкаете, и оригинальность становится пошлостью. Швыряет, как попало, самые серьезные вопросы, перемешивая их с романтическими. По-моему, времена романов прошли. Описывать, „как распустила волосы...”, трактовать (любовные) отношения человеческие...

Софья Андреевна: Когда любовные отношения — это интересы первой важности.

Л. Н.: Как первой! Они 1018-й важности. В народе это стоит на настоящем месте. Трудовая жизнь на первом месте». ¹⁸⁸

Тогда же Толстой подвел предварительный итог чтению в своем дневнике: «Дочитал, пробежал 1-й том „Карамазовых”. Много есть хорошего, но так нескладно. „Великий инквизитор” и прощание Зосимы».

Симптоматично, что, начиная разговор о Достоевском с высокой ноты, Толстой затем переходит к критике и, постепенно раздражаясь, отвергает почти все, написанное этим «странным» писателем. Мнения других только подливают масло в огонь. И уж совсем разговор переходит в семейную сцену, когда в него вступает Софья Андреевна (ее нервное возбуждение стремительно возрастает — приближается развязка семейной драмы). Художественные принципы Толстого были во многом противоположны тем, которым следовал (и которые многократно декларировал) Достоевский. Страхов это тонко почувствовал и сделал выбор в пользу Толстого. К тому же общеизвестно, что суждения позднего Толстого о литературе (и искусстве) отличались необыкновенной резкостью и нетерпимостью, особенно когда он высказывался о гениальных художниках (Данте, Шекспир, Гете) и «модернистах». Он и евангелистов не щадил. Маковицкий приводит такие слова Толстого, сказанные им 22 октября: «Л. Н. говорил, что сегодня читал часть Нагорной проповеди. Лишнего много, тяжело читать. Написано хуже Достоевского. В этих четырех Евангелиях нашли меньше чепухи, чем в остальных, и сделали их Священным писанием. Замечательно идолопоклонство к словесному выражению (к Евангелию)». ¹⁸⁹ «Хуже Достоевского» здесь равнозначно «хуже некуда».

Поразило Толстого и перенесение романа «Братья Карамазовы» на театральную сцену, о чем он говорил, играя в шахматы с А. Д. Радынским, В. Ф. Булгакову 22 октября: «Я читал „Братьев Карамазовых”, вот что ставят в Художественном театре. Как это нехудожественно! Прямо нехудожественно. Действующие лица делают как раз не то, что должны делать. Так что становится даже пошлым: читаешь и наперед знаешь, что они будут делать как раз не то, что должны, чего ждешь. Удивительно нехудожественно! И все говорят одним и тем же языком... И это наименее драматично, наименее пригодно к сценической постановке. Есть отдельные места, хорошие.

¹⁸⁸ Там же. С. 388. Несколько иного рода запись в дневнике С. А. Толстой: «Вечером Л. Н. увлекался чтением „Братьев Карамазовых” Достоевского и сказал: „Сегодня я понял то, за что любят Достоевского, у него есть прекрасные мысли”. Потом стал его критиковать, говоря опять, что все лица говорят языком Достоевского и длинны их рассуждения» (*Толстая С. А. Дневники*. Т. 2. С. 221).

¹⁸⁹ Там же. С. 392.

Как поучения этого старца, Зосимы... Очень глубокие. Но неестественно, что кто-то об этом рассказывает. Ну, конечно, великий инквизитор... Я читал только первый том, второго не читал».¹⁹⁰

Это не отменяет несомненного и сильного влечения Толстого к Достоевскому, острого желания разобраться в причинах колоссального успеха писателя у публики. Толстой часто восхищался религиозно-этическими воззрениями Достоевского, которые он старался приспособить для собственных просветительских и учительских целей. Многие Толстой отбрасывает и бракует (так он поступал всегда и со всеми), другое сокращает и переделывает, нисколько не стесняясь нарушения авторской воли, полагая, что тот, кто намерен открыть глаза людям, указать путь к чистой и трудовой жизни, не должен стесняться себя всякими мелочными, цеховыми соображениями. «Великий инквизитор» (в оценке его Толстой колеблется) для просветительских целей не годится: и сложно, и темно, да и Апокалипсис Толстой не любил. А вот поучения и рассказы Зосимы, отдельные главы «Мертвого дома» он с удовольствием включал в круг нужных всему человечеству художественных картин и мыслей.

Толстой в старости, почти на смертном одре, читающий последний роман Достоевского — картина, невольно настраивающая на торжественно-символический лад, вызывающая умиление. Однако сам Толстой редко умилялся, читая (а что-то и «пробегая») первый том «Братьев Карамазовых». Чем дальше продвигался, тем, кажется, сильнее росло сопротивление, неприятие, раздражение. Кульминации это неприятие достигло 23 октября. Толчком для взрыва послужило письмо из ссылки Н. Н. Гусева А. К. Чертковой от 27 сентября, пересланное ею Толстому. Гусев делился в письме своими впечатлениями от чтения «Дневника писателя» Достоевского (и приводил особенно возмутившие его цитаты), книги Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество» и книги А. С. Пругавина «Великие отщепенцы. Очерк современного сектантства и раскола».

О письме коротко упоминает Толстой в дневниковой записи за 23 октября: «От Гусева письмо его о Достоевском, как раз то же, что я чувствую». Маковицкий приводит слова Толстого, расшифровывающие эту запись: «Н. Н. Гусев пишет о Достоевском, возмущен им, выписывает места, где он оправдывает войну, наказание, Суды... Какое несерьезное отношение к самым важным вопросам! У меня было смутное сознание нехорошего у Достоевского».¹⁹¹ Еще подробнее об этом пишет Толстой Чертковой: «Случилось странное совпадение. Я, — всё забывши, — хотел вспомнить у забытого Достоевского и взял читать „Братьев Карамазовых“ (мне сказали, что это очень хорошо). Начал читать и не могу побороть отвращение к антихудожественности, легкомыслию, кривлянию и неподходящем отношении к важным предметам. И вот Николай Николаевич пишет то, что мне всё объясняет».

Необходимо здесь сказать о том, что Гусев неоднократно писал о Достоевском Толстому из ссылки, как правило, совсем в другом тоне. В письме от 3 ноября 1909 года он, восторженно оценивая произведения Достоевского, проводил прямые параллели с сочинениями Толстого: «...не знаю писателя, который бы так близко подходил к вашим взглядам, как Достоевский. Он один во всей русской печати понял и оценил, при появлении ее, глубокую религиозную идею, лежащую в основе „Анны Карениной“ и выраженную ее эпиграфом: „Мне отмщение, и Аз воздам“. И в „Записках из Мертвого дома“

¹⁹⁰ Булгаков Валентин. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Толстого. М., 1960. С. 392.

¹⁹¹ Там же. С. 393.

всюду рассеяны отдельные мысли, так близко, почти до буквального сходства, совпадающие с вашими взглядами». ¹⁹² Там же Гусев недоуменно вопрошает: «Интересует и удивляет меня: почему вы так мало, почти никогда не упоминаете о Достоевском, не ссылаетесь на него, не рекомендуете его?..» ¹⁹³ В другом письме, от 18 апреля 1910 года, Гусев снова возвращается к Достоевскому, чтение произведений которого «переворачивает» его душу. Он выписывает большой фрагмент из романа «Идиот» (разговор Мышкина с камердинером Епанчиных о смертной казни). Там же Гусев оспаривает концепцию Мережковского, противопоставлявшего Достоевского и Толстого. Оспаривает эмоционально и немного наивно: «Если Достоевский понял и оценил выражение религиозной истины „Мне отмщение, и Аз воздам“ в „Анне Карениной“, то можно ли думать, чтобы ему остались чужды выражающие напряженнейшие религиозные искания „Исповедь“, „В чем моя вера?“, „Воскресение“ и др. Мог ли он, сам сгоравший жаждой веры, не преклониться перед той верой, которая легла в основу вашей жизни и так просто, ярко и трогательно много раз была выражена вами: что „жизнь моя — не моя, а Пославшего меня“, и что жизнь моя есть исполнение Его воли. И не величайшая ли и кощунственная нелепость — утверждать, что могут быть чужды или даже враждебны друг другу два человека, одинаково томившиеся жаждой общения с Отцом нашим, Который, как сказал Магомет, к тому, кто хочет приблизиться к Нему на одну пядь, приближается на один локоть, и к тому, что идет к Нему шагом, к тому Он бежит?» ¹⁹⁴

На это письмо Толстой собирался ответить, да передумал — отталкивал пафос; сближение с Достоевским нисколько не радовало; слишком многое их разделяло, с годами различия не только не стирались, но становились еще более резкими: не так уж трудно представить реакцию Достоевского на роман «Воскресение», если бы писателю довелось дожить до него... А вот апрельское письмо 1910 года с критикой воззрений Достоевского Толстого порадовало, совпало с его собственными настроениями.

И все же независимо от воли Толстого образы романа Достоевского овладели им, проникли в поэтические сны, как об этом красноречиво говорит сон о Страхее и его романе с Грушенькой: «чудный сюжет», к которому уже после ухода из Ясной Поляны собирался вернуться Толстой. Равно хотел вернуться Толстой и к чтению романа «Братья Карамазовы»: в письме к дочери Александре Львовне 28 октября он просит прислать ему второй том романа. Толстому уже не было суждено ни дочитать роман Достоевского, ни — тем более — написать повесть на «чудный сюжет», но значимо, что его волновало и то и другое.

Вряд ли случайно и то, что из всех героинь Достоевского (судя по всему, они не очень были по вкусу Толстому, хотя, видимо, писатель и не разделял слишком резкого мнения Страхова, которого так странно соединила с героиней романа «Братья Карамазовы» причудливая и капризная фантазия сновидения) он выделил Грушеньку, предмет вожделения Федора и Дмитрия Карамазовых.

Героиня романа не «поражает», но неотразимо, неуловимо берет в полон, закабалает, зачаровывает. Дмитрий о ней в сладострастном восторге восклицает: «У Грушеньки, шельмы, есть такой один изгиб тела, он и на ножке у ней отразился, даже в пальчике-мизинчике на левой ножке отозвался. Видел и целовал, но и только — клянусь! Говорит: „Хочешь, выйду

¹⁹² Новые материалы о Л. Н. Толстом / Ред. А. А. Донсков. Сост. З. Н. Иванова и Л. Д. Громова. Ottawa, 2002. С. 98.

¹⁹³ Там же. С. 99.

¹⁹⁴ Там же. С. 140.

замуж, ведь ты нищий. Скажи, что бить не будешь и позволишь всё мне делать, что я захочу, тогда, может, и выйду”, — смеется» (14, 109). Позднее он назовет ее «царицей всех inferнальниц, каких можно только вообразить на свете!» (14, 143). Походка Грушеньки легкая, неслышная, а «темные соболиные брови и прелестные серо-голубые глаза с длинными ресницами заставили бы непременно самого равнодушного и рассеянного человека, даже где-нибудь в толпе, на гулянье, в давке, вдруг остановиться пред этим лицом и надолго запомнить его». Само собой приковала она к себе Алешу Карамазова (он, кажется, готов во все капканы попасть, но из всех благополучно ускользает): «Взгляд ее веселил душу — Алеша это почувствовал. Было и еще что-то в ней, о чем он не мог или не сумел бы дать отчет, но что, может быть, и ему сказалось бессознательно, именно опять-таки эта мягкость, нежность движений тела, эта кошачья неслышность этих движений». И ничего декадентского, изломанного, «утонченного»: «...это было мощное и обильное тело. Под шалью сказывались широкие полные плечи, высокая, еще совсем юношеская грудь. Это тело, может быть, обещало формы Венеры Милосской, хотя непременно и теперь уже в несколько утрированной пропорции, — это предчувствовалось». Конечно, это уже наблюдения не монашка Алеши, а многоопытного повествователя, знающего толк в женщинах и женской красоте, далеко вперед заглядывающего и проникательно определяющего: «...красота на мгновение, красота летучая, которая так часто встречается именно у русской женщины» (14, 137).

«Тело», «формы» Грушеньки описываются с редкой в произведениях Достоевского рельефностью. Слишком земная, гордая, наглая, коварная, «яростная», порывистая и прекрасно умеющая устраивать свои дела: «...румяная, полнотелая русская красавица, женщина с характером смелым и решительным, гордая и наглая, понимавшая толк в деньгах, приобретательница, скупая и осторожная, правдами иль неправдами, но уже успевшая, как говорили про нее, сколотить свой собственный капиталец» («многие прозвали ее сущюю жидовкой») (14, 311). Подчеркивается жестокое, злое начало, вдруг проступающее сквозь утрированную мягкую, кошачью внешность движений, жестов, — так мелькает в усмешке Грушеньки «какая-то жестокая черточка», бурно проступает ненависть. Она сама называет себя «низкой» и «неистойвой». Неудивительно, что Алеша Карамазов «составил об ней устрашающее понятие» (14, 315). Позднее это не только у него, но и у большинства жителей Скотопригоньевска составившееся «понятие» в романе весьма существенным образом корректируется, проступает другая, идеальная, поэтическая, жертвенная сторона души героини (начиная с главки «Луковка»), особенно сильно, горячим порывом раскрывающаяся в бредовых хмельных речах в Мокром: «Завтра в монастырь, а сегодня попляшем. Я шалить хочу, добрые люди, ну и что ж такое, Бог простит. Кабы Богом была, всех бы людей простила: „Милые мои грешнички, с этого дня прощаю всех” (...). Злодейке такой, как я, молиться хочется! (...) Все люди на свете хороши, все до единого. Хорошо на свете. Хоть и скверные мы, а хорошо на свете. Скверные мы и хорошие, и скверные и хорошие...» (14, 397).

Скверное и хорошее, «зверское» и «ангельское» не существуют в Грушеньке отдельно, все это живет в тесном союзе, вместе оба начала и в самом крайнем проявлении своих качеств, неистово, как например в полубезумном обращении к Дмитрию Карамазову: «Теперь всё мое — твое. Что нам деньги? Мы их и без того прокутим... Таковские чтобы не прокутили. А мы пойдем с тобою лучше землю пахать. Я землю вот этими руками скрести хочу. Трудиться надо, слышишь? Алеша приказал. Я не любовница тебе буду, я тебе верная буду, раба твоя буду, работать на тебя буду. Мы к ба-

рышне сходим и поклонимся оба, чтобы простила, и уедем. А не простит, мы и так уедем. А ты деньги ей снеси, а меня люби... А ее не люби. Больше ее не люби. А полюбишь, я ее задую... Я ей оба глаза иголкой выколю...» (14, 399). Алеше Карамазову открылась другая, идеальная сторона души Грушеньки, но почти для всех остальных она остается «страшной» женщиной, соблазнительницей и «инфернальницей» с гешефтом.

Вероятно, Толстой морщился, читая (или «пробегая») и эти страницы романа: отталкивал театральный мелодраматизм сцен, специфический язык, литературный, деланный, утрированная психология и назойливые повторения — подкаски читателю. Словом, многочисленных примет того, что он относил к понятию «нехудожественное». И тем не менее из всех героинь Достоевского ему, пожалуй, была понятнее и ближе именно Грушенька (понятнее и в персональном плане привлекательнее был и сам тип «русской» красоты героини «Братьев Карамазовых», отчасти простонародной и одновременно неотразимой, даже «дьявольской»).

Толстой, конечно, не употребил бы слова «инфернальница» (выверт, фокус, признак плохого вкуса), не предоставил бы своей героине такую «свободу слова» (не в словах притягательная сила любых героинь Толстого, а в чем-то другом, неуловимом и выражающемся особенным языком движений, жестов, умолчаний, мимической графики), но Степанида в повести «Дьявол» ведь самая настоящая «инфернальница», разумеется, в толстовском духе и стиле. Она мало говорит, скупо роняя слова, да ей и не о чем разговаривать с барином (Евгений из другого, чужого и странного мира, его «случайная» связь со Степанидой менее всего «вербальная»)¹⁹⁵ С первого же явления Степаниды, когда она стояла и «робко» улыбалась, босоногая, «свежая, твердая, красивая» в одежде, необыкновенно отчетливо запоминающейся («в белой вышитой занавеске, красно-бурой паневе, красном ярком платке» — преобладает красный цвет сладострастия и смерти), начинается путь к неминуемой трагической развязке, еще ранее предопределенной евангельскими эпитафиями, грозными и беспощадными, тщетно напоминающими о геенне.

«Робость» Степаниды, вызванная первой встречей с незнакомым мужчиной из другого и непонятого мира, моментально пройдет, как и «стыд» у Иртенева, которому после непродолжительного совокупления («Ее он хорошенько даже не рассматривал») стало «легко, спокойно, бодро». «Бабочка» оказалась «чистая, свежая, недурная и простая, без гримас». Нашел пенсне, заплатил своднику Даниле рубль и благополучно разрешил раздражавшую неприятность — «невольное воздержание». Все устроилось, казалось бы, легко и просто. Резюме повествователя невольно в контексте повести воспринимается как мрачная ирония: «Свобода мысли Евгения уже не нарушалась, и он мог свободно заниматься своими делами». Свобода, свободно — иллюзия, фальшь, самообман — герой навсегда утратил именно свободу.

В Степаниде нет ничего загадочного, мистического, чрезвычайного. Она, действительно, простая и «без гримас». Роман с барином для нее более или менее рядовое житейское событие с экономической выгодой, доставляющее к тому же несомненное удовольствие, не без некоторого возбуждающего риска — до находящегося в отдалении мужа («молодчина» и «гоголь»), которым она гордилась, вполне могли бы дойти слухи о «шалостях» жены, а тогда расправа была бы неминуема. Совесть молчит, «представле-

¹⁹⁵ Преобладает язык тела. Как писал А. П. Скафтымов в замечательной статье «Идеи и формы в творчестве Л. Толстого», «внимание художника сосредоточивается на том, что в человеке есть подвижного, моментально возникающего и исчезающего: жест, взгляд, мимический изгиб, летучие изменения линий тела» (Скафтымов А. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958. С. 277).

ние о грехе, под влиянием денег и участия домашних, совсем уничтожилось. Ей казалось, что если люди завидуют, то то, что она делает, хорошо». Она, если так можно сказать, естественно развращена. К тому же Степанида чувственна, любит «шалить», уверена в своих женских «чарах», с удовольствием (но без коварства и злого чувства, «просто») ¹⁹⁶ соревнуется с молодой барыней и шутя выигрывает.

Муки, терзания, угрызения совести выпали на долю всеми любимого, мягкого и честного Евгения Иртенева, благополучно устраивавшего до поры до времени свои «амурные» (ради «здоровья») дела с какой-то швеей и другими удобными женщинами. Такого же рода необременительной связью представлялись ему свидания на природе со Степанидой, которые ничего, представлялось, не стоило прервать; герой самым жестоким образом ошибся, как стало ясно уже очень скоро, когда им опять овладело беспокойство, но уже не «безличное». Влекло не к женщине вообще, а к Степаниде: «...ему представлялись именно те самые черные, блестящие глаза, тот же грудной голос, говорящий „голомя“, тот же запах чего-то свежего и сильного и та же высокая грудь, поднимающая занавеску, и всё это в той же ореховой и кленовой чаще, облитой ярким светом». От этого видения на идеальной для грехопадения природной сцене Евгению уже не суждено будет отделаться, хотя он и пытался убедить себя, что «сношения» («он даже не называл это связью») «с Степанидой было нечто совсем незаметное». «Сношения» же эти стали давно заметны всем, закабалили его, так что «когда приступало желание видеть ее, оно приступало с такой силой, что он ни о чем другом не мог думать».

Наваждение, прилипчивое и неотвязное, убивающее все рациональные соображения, дьявольский соблазн, врывающийся в семейную идиллию: «Он был недоволен тем, что заметил ее, а вместе с тем не мог оторвать (взгляд) от ее покачивающегося ловкой, сильной походкой босых ног тела, от ее рук, плеч, красивых складок рубахи и красной паневы, высоко подоткнутой над ее белыми икрами». У него нет своей воли, кто-то всемогущий и анонимный ему приказывает, и он не может послушаться приказов, поступает против своей воли, которой почти уже нет: «...не успел пройти пяти шагов, как, сам не зная как и по чьему приказу, опять оглянулся, чтобы еще раз увидеть ее». Кто-то безликий и злонамеренный отнял его волю, опутал липкими похотливыми путами, подобно черту в «Преступлении и наказании» подсунул соблазнительное видение, лишил внутреннего покоя, толкнул на преступление: «Он ушел, чтобы не видеть ее, но, войдя на верхний этаж, он, сам не зная как и зачем, подошел к окну и всё время, пока бабы были у крыльца, стоял у окна и смотрел, смотрел на нее, упивался ею.

Он сбежал, пока никто не мог его видеть, и пошел тихим шагом на балкон и, на балконе закулив папиросу, как будто гуляя, пошел в сад по тому направлению, по которому она пошла. Он не сделал двух шагов по аллее, как за деревьями мелькнула плисовая безрукавка на розовом растеге и красный платок. Она шла куда-то с другой бабой. „Куда-то они шли?“

И вдруг страстная похоть обожгла его, как рукой схватила за сердце. Евгений, как будто по чьей-то чуждой ему воле, оглянулся и пошел к ней».

А потом, накануне окончательного краха, Евгений будет стоять за кустом орешника, дожидаясь ее возвращения к нему в лес, зная, что сделать на виду у баб ей это невозможно: «Разумеется, она не вернулась, но он простоял здесь долго. И Боже мой, с какой прелестью рисовало ему ее его воображение. И это было не один раз, а пятый, шестой раз. И что дальше, то силь-

¹⁹⁶ «Об барине она вовсе и не думала. „У него теперь жена есть, — думала она. — А лестно посмотреть барыню, ее заведенье, хорошо, говорят, убрано“».

нее. Никогда она так привлекательна не казалась ему. Да и не то что привлекательна; никогда она так вполне не владела им».

Пост, усиленная физическая работа, молитвы к Богу — ничто не помогало. Как ничто не могло отвести Родиона Раскольникова от совершения убийства (параллель органично напрашивающаяся, вряд ли случайная — Толстой высоко ценил первую часть романа «Преступление и наказание»). Опоздав на свидание, он в шалаше мечтает о счастье с ней, преступном и ускользающем счастье: «„А что бы за счастье было, если бы она пришла. Одни здесь в этот дождь. Хоть бы раз обнять ее, а потом будь что будет. Ах, да, — вспомнил он, — если была, то по следам можно найти”. Он взглянул на землю пробитой к шалашу и не заросшей травой тропинки, и свежий след босой ноги, еще покотившейся, был на ней. „Да, она была. Но теперь кончено. Прямо, где ни увижу, пойду к ней. Ночью пойду к ней”. Он долго сидел в шалаше и вышел из него измученный и убитый».

Иртенева с поистине адской силой тянет к черным, смеющимся, веселым глазам и красной паневе, этим повторяющимся приметам толстовской «инфернальницы», приметам, от которых ему нет спасенья. Выходов из тупикового положения немного, и все они безумны и трагичны, как два варианта окончания повести, кажется, самой мрачной и безысходной в творчестве Толстого (мрачнее даже «Крейцеровой сонаты», с которой во многом перекликается), далеко запрятанной от глаз любителействующих, особенно Софьи Андреевны, все-таки ее обнаружившей (она положительно обладала талантом великого сыщика — ухищрения Льва Николаевича непременно разгадывались).

И в том и в другом варианте «дьявол» побеждает. В первом предпочтение отдается самоубийству после недолгого колебания: «Ведь она черт. Прямо черт. Ведь она против воли моей завладела мною. Убить? Да. Только два выхода: убить жену или ее. Потому что так жить нельзя (...) Ах, да, третий есть: себя, — сказал он тихо вслух, и вдруг мороз пробежал у него по коже. — Да, себя, тогда не нужно их убивать». Ему стало страшно именно потому, что он чувствовал, что только этот выход возможен». Во втором — выбор пал на уничтожение «дьявола» (безнадежное дело — дьявол, как известно, бессмертен и неуязвим). Обожженный смеющимся взглядом, говорившим «о веселой, беззаботной любви между ними, о том, что она знает, что он желает ее, что он приходил к ее сараю, и что она, как всегда, готова жить и веселиться с ним, не думая ни о каких условиях и последствиях», почувствовав себя в ее власти, Евгений «невольно» направляется к ней, вдруг решается на убийство «дьявола» (еще минуту назад ломал голову, как бы незаметно от других назначить ей свидание): «Да неужели я не могу овладеть собой? — говорил он себе. — Неужели я погиб? Господи! Да ведь нет никакого Бога? Есть дьявол. И это она. Он овладел мной. А я не хочу, не хочу. Дьявол, да, дьявол». А. Г. Гродецкая, анализируя семантику одного из главных мотивов в поздних повестях Толстого («Крейцера соната», «Отец Сергей», «Дьявол»), приходит к выводу, с которым нельзя не согласиться: «Здесь метафорический „дьявол” не только составляет психическую реальность, но и как будто материализуется в реальность чувственную. Реальным убийством, что самое главное, оборачивается победа над ним».¹⁹⁷ Неудачно тут только слово «победа»; точнее будет говорить о попытках избавиться от «дьявола», убив ее или себя. В любом варианте — это не победа, а поражение.

И хотя «шалаши» «инфернальницы» Достоевского и Толстого чрезвычайно несхожи (и еще более несхожи поэтические принципы Достоевского и

¹⁹⁷ Гродецкая А. Г. Ответы предания. Жития святых в духовном поиске Льва Толстого. СПб., 2000. С. 120.

Толстого; стилистику позднего Толстого отличает аскетическая строгость и почти фантастическая скупость приемов, антикнижность, антилитературность, достигающие кульминации в рассказе «Алеша Горшок», которым восхищался Александр Блок), они все же состоят в отдаленном родстве, своеобразно дополняя друг друга, соприкасаясь, спрягаясь, как сложным образом пересекаются и мотивы повестей «Кроткая» и «Крейцера соната».

Соблазнительно было бы провести параллели между судебными страницами «Братьев Карамазовых» и «Воскресения», но приходится ограничиться содержанием только первого тома романа Достоевского — второй Толстой, по-видимому, так и не успел прочесть. Но как раз в первом томе яснее всего очерчена собственно романтическая интрига, главными героями которой являются Дмитрий Карамазов и Грушенька. Вряд ли эпизоды этого «любовного» романа заинтересовали Толстого, он в последние годы к традиционным литературным мотивам относился отрицательно, часто был чрезмерно ригористичен, а к литературной технике Достоевского был особенно нетерпим. Стилль Достоевского представлялся ему сверх всякой меры искусственным и мелодраматичным, наверняка раздражали страстные монологи и особенный «метафорический» язык (более всего как раз присущий Дмитрию Карамазову), вряд ли понравились и опереточные, всячески поносимые и унижаемые польские паны. И все же один мотив, так ясно и ярко очерченный в книге девакой «Предварительное следствие», мотив противостояния частного человека и охранительной, безжалостной государственной чиновничьей машины не мог не привлечь внимания Толстого, автора «Живого трупа» и «Воскресения». Даже специфический символично-метафорический образный ряд здесь вряд ли вызывал у него раздражение, разве что, если бы вдруг пришлось готовить какой-то фрагмент для «Круга чтения», он подверг бы текст повсеместной и значительной правке, сократив и упростив. И это был бы уже его рассказ, утративший неповторимые приметы стиля Достоевского.

Мотив противостояния, жестокой и неравной борьбы разработан в романе Достоевского в разных плоскостях. Это и символический пророческий сон, рельефное изображение страха (на свой криминальный лад расшифрованный сыском): «Слушаю я вас, и мне мерещится... я, видите, вижу иногда во сне один сон... один такой сон, и он мне часто снится, повторяется, что кто-то за мной гонится, кто-то такой, которого я ужасно боюсь, гонится в темноте, ночью, ищет меня, а я прячусь куда-нибудь от него за дверь или за шкап, прячусь унижительно, а главное, что ему отлично известно, куда я от него спрятался, но что он будто бы нарочно притворяется, что не знает, где я сижу, чтобы дольше промучить меня, чтобы страхом моим насладиться... Вот это и вы теперь делаете! На то похоже!» (14, 424). Сон «кафкианский», уже превратившийся в действительность, о чем с грустью говорит преследователям Митя, употребляя еще одну метафору: «Теперь уж не сон! Реализм, господа, реализм действительной жизни! Я волк, а вы охотники, ну и травите волка» (там же).

Все попытки Мити разрушить стену между ним и ведущими следствие чиновниками, просьба отбросить прочь «крючкотворные мелочи», «казенщину допроса» оказываются тщетными, рассыпаются в прах. Напрасно он пытается убедить их в своей искренности и благороднейших порывах души, в театральном стиле объявляя: «Вы имеете дело с таким подсудимым, который сам на себя показывает, во вред себе показывает. Да-с, ибо я рыцарь чести, а вы — нет!» (14, 427). Все эти риторические излияния эмоционального и многословного преступника абсолютно не производят впечатления на ведущих допрос и профессионально строго придерживающихся определенных форм и правил («казенщины») прокурора и следователей. Они слушают

равнодушно и холодно, добиваясь только «фактов», «мелочей», не доверяя Мите, усматривая в его речах одни лишь уловки заматающего следы убийцы. Это злит и парализует энергию Мити, иронизирующего над их казенным поведением, оскорбляющего «охотников», проклинаящего «истязателей»: «Ему претило пред этими холодными, „впивающимися в него, как клопы“, людьми», «Уж и так об вас замарался», «Господа, вы огадили мою душу!», «И вы хотите, чтоб я таким насмешникам, как вы, ничего не видящим и ничему не верящим, слепым кротам и насмешникам, стал открывать и рассказывать еще новую подлость мою, еще новый позор, хотя бы это и спасло меня от вашего обвиния? Да лучше в каторгу!», «Ведь я, так сказать, душу мою разорвал пополам пред вами, а вы воспользовались и роетесь пальцами по разорванному месту в обеих половинах...» (14, 430, 432, 437, 438, 446).

Дмитрий Карамазов и «охотники» говорят на разных языках и без переводчика. Аналогичная психологическая (и, так сказать, «лингвистическая» ситуация) и в драме Толстого «Живой труп». Герой драмы в разладе с миром и самим собой. Он рвет все связи, выбирая фантастическую долю «живого трупа». Уходит в своего рода божественное, угарное подполье, тщетно пытаясь заглушить чувство стыда, везде и всегда его преследующего, неотвязного. Он так задушевно и поэтично исповедуется князю Абрезкову: «А что я ни делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо, и мне стыдно. Я сейчас говорю с вами, и мне стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в банке — так стыдно, так стыдно... И, только когда выпьешь, перестанет быть стыдно. А музыка — не оперы и Бетховен, а цыгане... Это такая жизнь, энергия вливается в тебя. А тут еще милые черные глаза и улыбка. И чем это увлекательнее, тем после еще стыднее». Он, как и положено толстовскому герою, не желает «служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь».

Насильно возвращенный в «цивилизацию», Федя Протасов на обычные вопросы судебного следователя о звании, возрасте, вероисповедании реагирует после молчания почти в манере ненавидящего «казенщину допроса» и «крючкотворные мелочи» Мити: «Как вам не совестно спрашивать эти глупости? Спрашивайте, что нужно, а не пустяки». И получает холодный выговор-предупреждение: «Я прошу вас быть осторожнее в выражениях и отвечать на мои вопросы». Протасов не желает признавать эти ругательные правила, пренебрегает буквой закона, отрицает унижительный казенный язык, стыдит судейских: «Ах, господин следователь, как вам не стыдно. Ну что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть, и, чтоб показать ее, мучаете не физически, а нравственно людей, которые в тысячи раз лучше вас».

Свое слово на суде Протасов оценивает как «разумную человеческую речь», которая впервые попадет в протокол. Слово, естественно, обличительное в духе позднего Толстого, где отсутствуют эвфемизмы и прямо говорится об истинной сути государственных институтов и исполнителей государственных законов: «Все успокоены (...) Вдруг является негодяй, шантажист, который требует от меня участия в шантаже. Я прогоняю его. Он идет к вам, к борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получив двадцатого числа по двугривенному за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите, которые вас к себе в переднюю не пустят. Но вы добрались и рады...» Здесь Протасова прерывают, но он уже успел сказать главное, без надрыва и истерик, только несколько повысив голос и с твердой уверенностью в своей правоте. Не падит ни себя («нет того положения, которое было бы хуже моего»), ни служителей Фемиды: «И как бы смешны вы были, если бы не были так гадки».

В драме «Живой труп» отдаленно и приглушенно звучат мотивы романа «Братья Карамазовы»: мытарства Дмитрия Карамазова на предварительном

следствии, гулянье в Мокром, функциональная близость героинь (Грушенька—Маша). Но противоположность художественных миров Достоевского и Толстого так значительна, что близость мотивов почти не ощущается. Больше бросаются в глаза контрасты: мягкий «аристократический» рисунок Толстого и буйство звуков и красок в «мещанском» и отчасти «труппном» пространстве Достоевского (не говоря уже о колоссальных мировоззренческих различиях). «Пьяный гам» заглушает другие звуки в злачном местечке Мокрое, где «чистые» комнаты, как в борделе самого низкого пошиба, уставлены кроватями, а в других идет безобразная гульба («весенние игры», бред и содом) — раздается «залихватская плясовая песня» в исполнении бесстыжих «мокринских девок». Тот же «народный» хор поет и «совсем вчерашние песни», похабные, с бесцензурными выражениями, на радость разгоряченной напитками публики, развязно пляшет, падая «совсем уж неприлично» на пол. Восторги, поцелуи, громкий хохот, пьяные речи. И в этом чаду Дмитрий Карамазов чувствует себя как рыба в воде — дело привычное: «...началось нечто беспорядочное и нелепое, но Митя был как бы в своем родном элементе, и чем нелепее всё становилось, тем больше он оживлялся духом» (14, 390).

Федя Протасов также «в своем родном элементе» у цыган, но его элемент без грязи и развязного привкуса оргии. И репертуар в толстовской драме другой, и публика другая, из знатоков, вроде записывающего цыган профессионального музыканта. Хор поет «Канавелу», и Федя переносится в далекое прошлое: «Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля...» Потом его приятель Афремов заказывает «похоронную»: «...когда я умру... понимаешь, умру, в гробу буду лежать, придут цыгане... понимаешь? Так жене завещаю. И запоют „Шэл мэ верста“, — так я из гроба вскочу, — понимаешь?» Репертуар отборный, знатоками цыганской песни составленный: «Час», «Размолодчики мои». И, разумеется, любимая толстовская «Не вечерняя», которую наконец-то дождался Федя: «Вот это она. Вот это она. Удивительно, и где же делается то всё, что тут высказано? Ах, хорошо. И зачем может человек доходить до этого восторга, а нельзя продолжать его?» В самом конце цыгане поют «Лен», погружающий героя драмы в нирвану: «Ах, хорошо! Кабы только не просыпаться. Так и помереть».

Искусство высшей пробы («Не оригинально, а это настоящее...» — поправляет музыканта Федя), — идеальное, «чистое». Свободны от грязи и отношения между Протасовым и Машей, их стремится сохранить чистыми опустившийся на дно жизни, отказавшийся от всего герой (тоже ведь «рыцарь чести»): «У меня к ней жалости не было. У меня перед ней всегда был восторг, и когда она пела — ах, как пела, да и теперь, пожалуй, поет, — и всегда я на нее смотрел снизу вверх. Не погубил я ее просто потому, что любил. Истинно любил. И теперь это хорошее, хорошее воспоминание». Маша для него якорь спасения, драгоценность, которую он всячески лелеет и оберегает: «Всегда радуюсь, радуюсь, что ничем не осквернил это свое чувство... Могу падать еще, весь упасть, все с себя продам, весь во вшах буду, в коросте, а этот бриллиант, не брильянт, а луч солнца, да, — во мне, со мной». Ему дорого, что Маша является редчайшим исключением, что она идет против законов и обычаев своей консервативной и меркантильной среды: «...если бы эти чувства проявились у девушки нашего круга, чтобы она пожертвовала всем для любимого человека... а тут цыганка, вся воспитанная на корысти, и эта чистая, самоотверженная любовь — отдает все, а сама ничего не требует». То, что Маша идеальная, жертвенная героиня, жемчужина, выросшая в грубой и хищной среде, очевидно. Но в ней есть незаурядная сила воли, и вряд ли она ничего не требует от Феди. Слишком много требует — любви, отклоняя гордо слова Феди о гибели, грозящей в сою-

зе с ним: «Это уже не твое дело. Я сама про себя знаю, где погибну...» Однако чистый и идеальный характер их отношений вне сомнений, чувственная сторона в тени (занавес опускается как нельзя вовремя) в отличие от страстной и только неожиданным приездом следователей прерываемой «оргии» в Мокром. На чистоте и нравственности Маши настаивается, так чтобы даже никакого подозрения не могло возникнуть: «Эта девушка так же нравственно чиста, как голубь. И мои отношения с ней дружеские. Если, может быть, на них есть оттенок поэтичности, то это все-таки не уничтожает чистоты — чести этой девушки». И ничего inferнального в Маше нет, как нет и мгновенной смены настроений и чувств, свойственных царице inferнальниц Грушеньке, в натуре которой так удивительно переплелось скверное и хорошее, доброе и злое, жестокое и жертвенное (характер идеальной цыганки в «Живом трупe» очищен от противоречий, в определенной степени связан к авторской тенденции, следовательно, и схематичен).

В 1894 году Толстой отдает в предсимволистский журнал «Северный вестник» «буддистскую сказочку» под названием «Карма», поясняя в письме к редактору Л. Я. Гуревич, что она ему очень понравилась «и своей наивностью, и своей глубиной. Особенно хорошо в ней разъяснение той часто с разных сторон, особенно в последнее время, затемняемой истины, что избавление от зла и приобретение блага добывается только усилием; что нет и не может быть такого приспособления или учреждения, посредством которого, помимо своего личного усердия, достигалось бы своё или общее благо, когда оно благо общее. Как только разбойник, вылезавший из ада, пожелал блага себе одному, так его благо перестало быть благом, и он оборвался». Сказочка буддистская, но заключающая в себе «две основные открытые христианством людям истины: о том, что жизнь только в отречении от личности, — кто погубит душу, тот обретет ее, и что благо людей только в их единении с Богом и через Бога между собой...» Параллель и толкование сугубо толстовские — в духе его учения, к которому приурочен и перевод сказки. Перевел же он ее потому, что увидел в сказке образно и доступно рассказанные фундаментальные и необходимые, по его убеждению, истины для всего человечества. В предисловии и переводе Толстого курсивом подчеркивается типично толстовская мысль о пагубности эгоизма («Эгоизм — сумасшествие», — записывает Толстой в дневнике), о «заблуждении личности». История разбойника Кандаты и поучения буддийского монаха близки мыслям, неоднократно звучавшим в творчестве Толстого.

Истины, изложенные в «Карме» в виде образной притчи, в том или ином качестве присутствуют и в других произведениях позднего Толстого. Характерна запись, сделанная Д. Маковицким 9 августа 1906 года: «Утром и пополудни проверяли „Фальшивый купон“, соответствующий „Карме“. Александра Львовна сказала, что это ее самое любимое сочинение; чтобы его докончить, надо три года работать».¹⁹⁸ «Фальшивый купон», действительно, в некотором смысле «буддистская» повесть, где так замысловато переплетены две бесконечные лестницы человеческих деяний — злых и добрых.

Притча, легшая в основу «буддистской сказки», существует в разных фольклорных вариантах и литературных переложениях.¹⁹⁹ Еще в 1859 году в «Народных русских легендах» А. Н. Афанасьев опубликовал легенду «Хри-

¹⁹⁸ Лит. наследство. Т. 90. Кн. 2. С. 201.

¹⁹⁹ См.: Иванов Вяч. Вс. О научном ясновидении Афанасьева, сказочника и фольклориста // Литературная учеба. 1982. № 1. С. 158; Туниманов В. А. Одна луковка и две паутинки (Ф. Достоевский, Л. Толстой, Рюноске Акутагава) // Acta Slavica Iaponica. Tomus XIII. 1995. Sapporo, Japan. P. 184—225.

стов братец» (и ее малороссийский вариант), содержащую притчу о «луковке», которую Достоевский слышал в устном изложении, записал, полагая, что делает это «в первый раз», назвал «драгоценностью» и включил в роман «Братья Карамазовы»; одна из главков романа так и называется «Луковка». Рассказывает притчу грешная и inferнальная Грушенька, подающая Алеше в трудную минуту великого смущения «луковку», восстанавливающая его душу.

Легенда («басня») о злой бабе и луковке сливается в романе с мистико-религиозной поэзией. Достоевский раздвигает рамки евангельского рассказа о чуде, сотворенном Христом («Кто любит людей, тот и радость их любит...») — вспоминает Алеша в вещем сне поучение Зосимы; напомним, что Толстой более всего ценил именно эти страницы «Братьев Карамазовых»), переносит туда, в Кану Галилейскую, лежащего в гробе старца. Зосима в символическом, вещем сне рукой приподнимает Алешу с колен: символический жест, «реальность» которого подчеркивается.

Исполнены высшего смысла слова старца в провидческом сне (эхо поучений и их продолжение); здесь вновь звучит главный мотив «басни»: «Веселимся <...> пьем вино новое, вино радости новой, великой; видишь, сколько гостей? Вот и жених и невеста, вот и премудрый архитриклин, вино новое пробует. Чего дивишься на меня? Я луковку подал, вот и я здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке... Что наши дела? И ты, тихий, и ты, кроткий мой мальчик, и ты сегодня луковку сумел подать алчущей. Начинай, милый, начинай, кроткий, дело свое!.. А видишь ли солнце наше, видишь ли ты его? <...> Не бойся его. Страшен величием пред нами, ужасен высотой своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей, новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже на веки веков» (14, 327).

Мотив «луковки» в главе «Кана Галилейская» достигает кульминации, сливаясь с другими близкими по духу мотивами в мистико-религиозную поэму, «соавторами» которой являются рассказчик-биограф, Зосима, Алеша и Грушенька. В дальнейшем протягиваются нити от «Луковки» и «Каны Галилейской» к главе «Бред», к другому, совсем не евангельскому «пиру на весь мир», где сквозь чадные, хмельные, вульгарные звуки прорывается мелодия «басни», явственно переключаясь с мотивами апокрифа «Хожение Богородицы по мукам» в пересказе Ивана Карамазова и проникновенной молитвой Алеши. Вспоминает в пьяном «бреду» «луковку» и Грушенька, «прощающая» всех и у всех просящая прощение: «Завтра в монастырь, а сегодня попляшем. Я шалить хочу, добрые люди, ну и что ж такое, Бог простит. Кабы Богом была, всех бы людей простила: „Милые мои грешнички, с этого дня прощаю всех“. А я пойду прощения просить: „Простите, добрые люди, бабу глупую, вот что“. Зверь я, вот что. А молиться хочу. Я луковку подала. Злодейке такой, как я, молиться хочется! <...> Все люди на свете хороши, все до единого. Хорошо на свете. Хоть и скверные мы, а хорошо на свете. Скверные мы и хорошие, и скверные и хорошие...» (14, 397).

Толстой по меньшей мере трижды читал первый том «Братьев Карамазовых», любил поучения Зосимы (и цитировал их, преследуя собственные учительские пропагандистские цели), видел во сне незадолго до ухода из Ясной Поляны героиню романа Грушеньку, но ничего не сказал о басне «Луковка». Дело тут, должно быть, не в противоположности религиозных интенций Толстого и Достоевского, а в разных углах зрения, разных акцентах, взаимодополняющих друг друга. И хотя, вполне вероятно, Толстой мог и не заметить сюжетного сходства притчи о луковке и истории разбойника Кандаты, поэтическую мысль Достоевского он, конечно, прекрасно понял.

Все виды человеческой деятельности Толстой поверяет самым главным и важным критерием единения в добре и трудовой жизни: «Дело наше здесь только в том, чтобы делать, как должно, то, что потребуется, т.е. любовно. Вроде того, что запрягать — делать всё то, что соединяет людей, а сделать что-нибудь, *совершить* нам не дано, потому что жизнь наша не есть что-либо цельное, законченное, а есть часть чего-то несоизмеримо огромного, есть конечная частица бесконечного. Дело всё только, чтобы часть прилаживалась как должно к целому» (51, 19—20). Акцент на общем деле, на сопряжении, на духовном единении. Бесконечное, по убеждению Толстого, не освобождает никого от нравственной ответственности и от исполнения воли Отца. Бесконечная цепь бытия лишь подчеркивает значение любого поступка человека в недолгий срок пребывания его в земной юдоли. Человек обязан соотносить свои текущие дела с «неизмеримо огромным» бесконечным.

В «Карме» цепочка вариаций на тему, четко обозначенную в предисловии: «Благо отдельного человека только тогда истинное благо, когда оно благо общее». Разбойник Кандата не совершает никакого доброго дела. Паутинка спасения случайна, она никоим образом не связана с предыдущей жизнью Кандаты. Это акт доброй воли Бога (Будды). Его испытывает достигший «блаженного состояния просветления» Будда. Испытания разбойник не выдержал: от эгоизма его не излечили даже долгие годы страданий в аду. Он употребил «усилие» лишь для того, чтобы спастись одному. Толстым неумолимо осуждается «себялюбие».

В «Карме» нет, так сказать, «луковки», нет единичного доброго деяния, составляющего суть притчи Грушеньки. Самая важная и утешительная мысль, вытекающая из басни, — это мысль о неистребимости добра, о радости, которую приносит дающему милостыня; на этом держится этот вечно прекрасный и скверный мир (все скверные и грешные, все «звери», но и все «хороши», так как каждый когда-нибудь сделал что-нибудь доброе, у каждого есть возможность подать другому «луковку», а значит, есть надежда на прощение и спасение, открыта дорога на «пир»). Мысль дорогая Достоевскому, которую в наиболее концентрированном виде выразил герой романа «Идиот» Ипполит Терентьев: «Единичное добро останется всегда, потому что оно есть потребность личности, живая потребность прямого влияния одной личности на другую (...) Бросая ваше семя, бросая вашу „милостыню“, ваше доброе дело в какой бы то ни было форме, вы отдаете часть вашей личности и принимаете в себя часть другой: вы взаимно приобщаетесь один к другому; еще несколько внимания, и вы вознаграждаетесь уже знанием, самыми неожиданными открытиями (...) все ваши мысли, все брошенные вами семена, может быть, уже забытые вами, воплотятся и вырастут; получивший от вас передаст другому. И почему вы знаете, какое участие вы будете иметь в будущем разрешении судеб человечества» (8, 335—336).

«Карма» и «Луковка» — это как два тесно связанных полюса «Фальшивого купона», христианско-буддистский лабиринт мыслей и образов, из которого два пути — один тупиковый, с бесконечными ответвлениями, другой — спасительный. Связаны они согласно тому закону жизни, о котором сказано было Зосимой (эти слова старца любил вспоминать и повторять Толстой): «... всё как океан, всё течет и соприкасается, в одном месте тронешь — в другом конце мира отдается!» (14, 290). Станным и фантастическим образом соприкоснулись и судьбы Николая Николаевича Стрхова и Грушеньки в художественном сне Льва Толстого.